

# Енисей

75  
лет№ 2  
2015Красноярский литературно-художественный  
и краеведческий альманах

Васильев 88



# Енисей

№2 \* Красноярский литературно-художественный  
2015 \* и краеведческий альманах

Михаил Тарковский главный редактор

заместители  
главного редактора:

Сергей Кузнечихин по поэзии  
Владимир Замышляев по публицистике  
и литературоведению

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр Астраханцев прозаик, председатель  
Красноярского отделения  
Литературного фонда России

Леонид Бердников краевед, председатель  
историко-патриотического  
общества «Краевед»

Иван Булава прозаик, первый секретарь  
Сибирского представительства  
Союза писателей России и Белоруссии

Иван Клиновой член Союза российских писателей

Марина Москалюк доктор искусствоведения, профессор,  
директор КГБУК «Художественный  
музей им. В. И. Сурикова»

Михаил Северьянов заведующий кафедрой отечественной  
истории Гуманитарного института  
ФГАОУ ВПО «Сибирский  
федеральный университет»,  
доктор исторических наук, профессор

\* Красноярск  
ИД «Класс Плюс»



ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря  
финансовой поддержке министерства  
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов.

В оформлении обложки использован  
фрагмент картины Валерия Рослякова  
«Портовый город Игарка».

Адрес редакции:  
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,  
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов  
Корректор: Андрей Леонтьев  
Ответственный секретарь:  
Александр Ёлтышев

Подписано в печать: 15.12.2015  
Тираж: 500 экз.  
Формат: 70 × 100 / 16  
Объём: 16,25 + 0,65 вкл. усл. печ. л.

Изготовлено в ИД «Класс Плюс»  
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65  
(строение 23) | т. (391) 2-59-59-60  
e-mail: info@kacc.ru

ISBN 978-5-90-5791-41-3

# Содержание

Великая русская провинция 5

## ЮБИЛЕЙ

На переломе эпох 7

## ПРОЗА

Александр Астраханцев *Хроники деревни Таловки* 12

Андрей Антипин *Смола* 65

Владимир Шпаков *Капитанский чай* 76

Зинаида Кузнецова *Белые собаки Матери Терезы* 101

Евгения Зуева *Танец журавлей* 106

## ПОЭЗИЯ

Сергей Кузнечихин *Исторические заметки* 110

Софья Григорьева 114

Дарья Лысенко 121

Людмила Гайдукова 128

Рустам Карапетьян 132

Виталий Неизвестных 138

*Гости альманаха «Енисей»*

Николай Зиновьев 141

Николай Рачков 144

*Конкурс имени Игнатия Рождественского*

Джон Анфиногенов 147

Виолетта Гусакова 149

## КРАЕВЕДЕНИЕ

Ольга Ермолаева *Школа имени Астафьева* 151

## ФАКТОР ПОБЕДЫ

Аделя Броднева *«Не забывай моё весеннее танго...»* 156

## КУЛЬТУРА

Алексадра Гольцова, Татьяна Шнар *Вечный мир  
ожившей линии* 191

Авторы 195

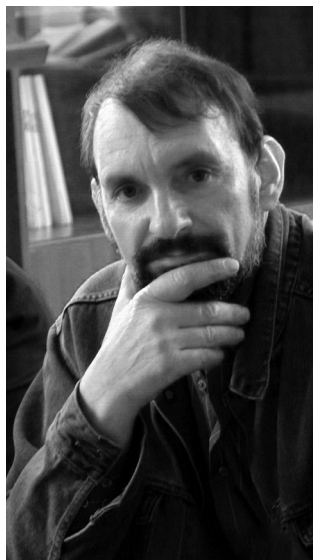
## Великая русская провинция

Дорогие читатели! Это номер мы посвящаем юбилею альманаха «Енисей», которому исполняется нынче 75 лет. Эту серьёзную дату альманах отмечает в трудную для России пору, когда не только урезаются культурные программы, но и происходит много гораздо более тревожных событий, и мировой духовный кризис с такой силой бушует на планете, что в полной мере касается и жизни в нашей стране.

На протяжении многих лет альманах делал своё дело — наряду с другими изданиями участвовал в литературном процессе нашего края, давал возможность читателям знакомиться с произведениями известных писателей, помогал молодым и малоизвестным авторам пробиться к читателю, выполнял свою заботливую и кропотливую работу и всегда выражал какую-то глубинную ноту, связанную с енисейской землёй и людьми, её населяющими.

Это очень важно, потому что именно из таких глубинно-местных журналов и альманахов и складывается литературная палитра России. Ничего нет прекрасней, чем такие региональные издания, и всегда замирает сердце, когда открываешь журнал или альманах с такими запредельными названиями, как «Огни Кузбасса», «Бийский вестник», «Иркутский кремль», «Дальний Восток», «Сибирские огни». И сразу ощущаешь дыхание географии, места и того особенного и одновременно общего и огромного, что мы называем Россией и её главной составляющей — великой русской провинцией.

Конечно, звучит это всё романтично и оптимистично, и мало кто знает, на каком острие находится редакция альманаха, вечно пребывающая меж двух огней, балансирующая на стыке двух задач: с одной стороны — помощь начинающим и малоизвестным авторам, а с другой — поддержание высокого литературного уровня, без которого мы не оправдаем звание старейшего литературного издания Красноярского края. Так мы и существуем, и движемся, и нам очень не хватает читательских отзывов о нашей работе, без которых мы не можем эту работу в полной мере оценить. Поэтому хотелось бы, чтоб



читатели писали нам, тем более что наиболее интересные, вдумчивые и созидательные письма мы бы с удовольствием публиковали.

В этом юбилейном номере мы печатаем интервью с главным редактором нашего альманаха Сергеем Задереевым, руководившим «Енисеем» двадцать пять лет назад, а также, следуя старинной традиции, помещаем произведения наших региональных авторов Александра Астраханцева, Сергей Кузнечихина, Виталия Неизвестных и других. В рубрике «Гости альманаха» мы впервые публикуем на наших страницах стихи замечательных русских поэтов Николая Зиновьева и Николая Рачкова. Каким образом связаны эти имена друг с другом, вы узнаете из этой публикации.

*Михаил Тарковский*



## На переломе эпох

Совсем недавно, каких-то двадцать пять лет назад, главный редактор альманаха «Енисей», член Союза писателей России *Сергей Задереев* торжественно отметил золотой юбилей возглавляемого им издания и с чувством исполненного долга покинул своё кресло, которое никогда не было мягким.

— *Сергей, ты пришёл в альманах уже сложившимся писателем. Что заставило оторвать время от написания новых книг, занявшись хлопотливым и не высокооплачиваемым трудом?*

— Я начал работать в альманахе в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году ответственным секретарём. Злые языки быстро вычислили причину моего вступления в должность: себя решил печатать. Да, мои повести и рассказы, заслуживающие читательского внимания, публиковались, но главная цель была иной — изменить альманах, сделать его нормальным.

— *Что это значит?*

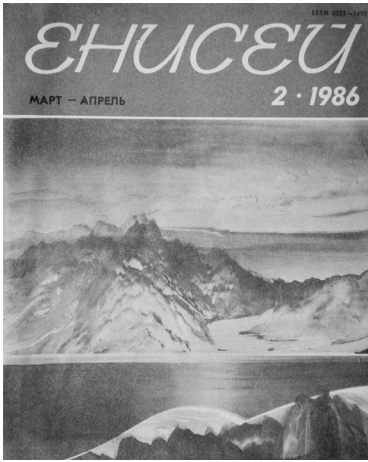
— Это значит: заполнять страницы издания стихами, прозой, публицистикой высокого уровня, находить несправедливо забытые, запрещаемые цензурой вещи, добиваться их публикации, существенно улучшить оформление альманаха.

— *Известно, что тебе и твоим соратникам это удалось. Битва была тяжёлой?*

— Тяжёлой — мягко сказано. В советское время господствовал принцип: творения членов Союза писателей надо обязательно публиковать. Даже если это чушь — отредактируй и поставь. Мы с Сергеем Федотовым, редактором отдела публицистики, решили: никакой редактур, не готовый к публикации текст возвращали автору. Забота редактора — выбрать из потока самое достойное.

— *Но у каждого свои критерии понятия «достойное».*

— Главным редактором был член КПСС Анатолий Иванович Чмыхало, который очень боялся всего острого, идущего вразрез с генеральной линией партии, постановлениями съездов и пленумов. Помню, с каким трудом пробивал я повесть Сергея Кузнечихина «Ноль пять». Сильная



реалистичная вещь, ничего крамольного, а Чмыхало заявляет: «Только через мой труп!» По его мнению, повесть не вписывается в рамки социалистического реализма.

— Да, господствовало такое литературное направление, суть которого никто не мог достаточно чётко сформулировать.

— Но многим удавалось использовать этот принцип как преграду для талантливых работ. С главным редактором за публикации постоянно велась борьба, переходящая в скандалы.

Я позвонил Виктору Петровичу Астафьеву с просьбой собрать редколлегию альманаха и добиться, чтобы критерием публикации стало не имя автора, а качество произведения.

— Часто самого разумного и очевидного достичь бывает труднее всего.

— Решением редколлегии в конце восьмидесятых меня назначили главным редактором альманаха. Казалось бы, руки развязаны, ищи авторов, литературные шедевры, тем более что в этом есть такой помощник — мой духовник отец Михаил, царствие ему небесное. Суперобразованный человек, выпускник Горьковского университета, за так называемую антисоветскую деятельность получил шесть лет мордовских лагерей, где пришёл к православной вере. Освободившись, пошёл служить в Никольский храм Красноярска. Окончил духовную семинарию, академию.

— Вероятно, у отца Михаила образовался большой круг друзей среди писателей-диссидентов, отбывавших срок в колонии для политзаключённых?

— Конечно. Благодаря ему мы связались с Леонидом Бородиным и первыми в СССР опубликовали его стихи. Отец Михаил познакомил меня с вдовой Даниила Андреева, стихи которого мы тоже опубликовали первыми. Напечатали удивительного прозаика Виктора Тростникова, Анатолия Гаврилова... Многих писателей, которых никто из читателей не знал. Евгений Попов в то время только у нас печатался.

— Сказав, что у тебя как у главного редактора руки развязаны, ты добавил: казалось бы...

— Над главным редактором нависали цензура, крайком партии, КГБ. За каждый номер шла война. Спасительница-память не сохранила

фамилии главного краевого цензора, но личность эту никогда не забуду. Самый большой скандал связан с повестью Владимира Зазубрина «Щепка» о работе губернского ЧК и красном терроре. Я знал, что где-то есть рукопись, написанная в тысяча девятьсот двадцать третьем году, стал искать — вышел на новосибирских литераторов. Они говорят: мы хотим напечатать повесть в журнале «Сибирские огни», но цензура не позволяет. Я попросил рукопись для публикации в «Енисее».

— *А что, красноярская цензура имела другое мнение?*

— Нет, конечно, но к тому времени мы первыми в Советском Союзе добились отмены так называемого литования — предварительного визирования печатного органа к публикации (вторым был журнал «Огонёк»). Цензура знакомилась с нашим альманахом только после выхода его из типографии. Главный цензор порой не сдерживал эмоций и не стеснялся в выражениях: «Я весь тираж под нож пушу, а тебя в тюрьму посажу!»

— *Русскому писателю и отсидеть можно — давняя традиция.*

— Не каждую традицию хочется продолжать, и у цензуры этого не получилось. А «Щепка» вышла одновременно у нас и в «Сибирских огнях» — новосибирцам удалось уломать свои власти и присвоить себе первенство в публикации.

— *Труды Тимофея Бондарева тоже впервые появились в «Енисее»?*

— Да, я решил написать повесть об этом крестьянском философе. А как напишешь, не прочитай его работ? Считалось, что рукописей Тимофея Михайловича не сохранилось, но, три дня поработав в минусинском музее, я нашёл его подлинный манускрипт, второй обнаружил в краевом архиве. Первым опубликовал Бондарева в конце девятнадцатого века Лев Николаевич Толстой, книга была конфискована, изъята из продажи. А через сто лет самобытный философ предстал перед читателями на страницах «Енисея».

— *Оформлению большое значение придавали?*

— Огромное. С нами сотрудничали отличные фотохудожники: Александры Кузнецов, Купцов, другие мастера. К номеру, посвящённому тысячелетию крещения Руси, привлекли лучших художников из художественного института. Сергей Элоян, ныне всемирно популярный живописец, первый гонорар получил в «Енисее».

— *За пределами края был известен наш альманах?*

— Даже за пределами страны, и не только известен, но востребован. После упомянутых мною публикаций, очерка Виктора Коморина «На крыльчке КАТЭКа» приходили письма из Москвы, Англии, США,

Германии с просьбой выслать экземпляры. В тысяча девятьсот девяностом в газете «Литературная Россия» появился обзор региональных литературных альманахов, лучшими были признаны «Кубань» и «Енисей».

— *Тираж стал расти?*

— Увы, наоборот. Кроме признания, существует ещё экономический аспект. В тысяча девятьсот восемьдесят девятом тираж был двадцать пять тысяч — расходился полностью, но... на следующий год снизился до десяти тысяч из-за дороговизны бумаги.

— *Сергей, ты уникальный редактор: тебе достались советское время с его крайками, цензурами, грозными комитетами, когда приходилось лавировать, ожидать увольнения за политическую неблагонадёжность, и постсоветская вольница, заставляющая искать меценатов, добывать деньги на ту же бумагу. Какая ноша тяжелее?*

— Советская. Деньги найти можно, если не ныть, не стонать, что меня бесит, а проявлять инициативу. У нас с Федотовым зарплата была нищенская, гонорарный фонд — хилый, приходилось подрабатывать, а хотелось жить достойно, авторов поощрять. Когда Александр Кузнецов поехал со своей фотовыставкой в Индию, я попросил его привезти подлинную «Камасутру» (подделок-то много ходило). Привёз на английском языке. Мы перевели, пересняли иллюстрации — подготовили к печати, но цена на бумагу подскочила и стала для нас неподъёмной. К нам обратилась частная фирма: продайте право на издание. Заключили джентльменское соглашение, но фирмачи оказались не джентльменами, хотя ошутимая сумма нам всё-таки перепала.

— *Помню, вы выпускали религиозные издания.*

— Это детективная история. Приближалось пятидесятилетие альманаха, хотелось торжественно отметить это событие, поощрить лучших авторов. Мы решили сами заработать средства, причём на благородном поприще. Назанимали денег и издали Детскую Библию тиражом сто тысяч экземпляров — первое мирское издание Книги. Предварительно договорились с нашим благочинным (владыки тогда в Красноярске не было) отцом Сергием. Показали ему текст, оформление и получили благословение: «Покупаю весь тираж». Типография сработала оперативно, загружаем книги в КАМАЗ и везём в епархию. Выходит благословивший на издание и говорит: «Я передумал, брат не буду».

— *Здесь ненадолго прервёмся, предоставив читателю возможность прочувствовать ситуацию.*

— А я помогу: долги огромные, машина загружена, волосы дыбом — куда деваться?

— Сначала вопрос: почему благочинный изменил решение?

— Догадаться нетрудно: крайком и КГБ надавили. Церкви можно подобное издавать, а тут какие-то светские деятели, не совсем благонадёжные Задереев с Федотовым, на чужую территорию вторглись.

— Итак, продолжение экстремальной истории...

— Отца Михаила к тому времени отсюда выжили — служил в Барнауле. Звоню ему, докладываю ситуацию. Он говорит: схожу к владыке, перезвони через час. Звоню — велит приезжать. Водитель молодец: как дал сто двадцать километров в час — ни минуты лишней не стояли. Приезжаем — нас ждут. Выгружаем книги, батюшка смиренно протягивает мне четыреста тысяч наличными, по тем временам — сумма огромная. А КАМАЗ я отпустил сразу — водителю на основную работу надо двигать с «левой» ходки. Батюшка видит тревожный вопрос в моих глазах и спокойно говорит: «Церковь всё предусмотрела». Заворачивает деньги в большое вафельное полотенце, получается нечто вроде саквояжика, к нему подвязывает берёзовый веник... Дескать, топай, сын мой, якобы в баню, и никто тебя не тронет. Дошёл я до отца Михаила, он меня усадил в самолёт и благословил в дорогу.

— Деньги потратили по назначению?

— Конечно: раздали долги, сами заработали, наградили лучших своих авторов — поэта, прозаика, публициста, достойно отметили золотой юбилей альманаха.

— То есть свою лебединую песню в «Енисее» ты пропел под звуки фанфар?

— Можно и так сказать. Ещё раз подчеркну: никогда не надо жаловаться на «объективные трудности» местного, государственного, всемирного масштаба. Из любой ситуации можно найти выход — истина не нова, но её приходится время от времени освежать в памяти забывчивых.

*Беседовал Александр Ёлтышев*

Александр Астраханцев

## Хроники деревни Таловки

Очерк

Сибирь. Красноярский край. Ниточка железной дороги перерезает горы и тайгу с запада на восток, и на эту ниточку бисером нанизаны станции и полустанции с посёлками и деревнями возле них. В одной такой, Таловке, я живу, иногда подолгу, иногда наездами.

А вокруг тайга и горы, старые порубки, снова горы и тайга. На юг от Таловки, насколько знаю, ни одного жилья на пятьдесят километров, на север — на все сотни, если не тысячи, и только железная дорога, как тонкая пуповинка, связывает моих таловских соседей с остальным миром. И всё-таки жизнь их в какой-то степени синхронна жизни остальной России.

## «ЭСПЕРАНЦА»

Дожди нынче не дают копать картошку, льют и льют, тихие, частые и долгие. Вот и сегодня с утра зарядил. Но к обеду — точно по классической народной примете «ранний дождь — до обеда» — вдруг прояснилось, выглянуло ещё по-летнему горячее солнце; огороды наши — на косогоре, сохнут быстро, часа в четыре уже можно начинать.

Смотрю, и в самом деле вся деревня — пенсионеры, дачники — времени не теряет, копает. Вышел и я.

Соседи слева, симпатичные мне своим нескончаемым трудолюбием, несмотря на старость и хвори, Марья Ефимовна и Иван Прокопьевич, как всегда, вышли первыми. И, как всегда, переругиваются. Выглядит это так: Марья Ефимовна ворчит, а Иван Прокопьевич только изредка глухо и терпеливо оправдывается; причём руганью это кажется только со стороны — на самом деле идет привычный для них обмен мнениями; просто они привыкли так между собой общаться. Но сегодня что-то очень уж горячо и долго они бранятся; час за часом до меня то и дело долетает: «зять», «невестка», «свёкор»... Похоже, семейная разборка — в городе и вокруг по деревням у них много родственников и свояков.

Потом вдруг слышу раздражённый голос Марьи Ефимовны: — Я тебе русским языком говорю: он её убил!

И опять в ответ — глухой ропот Ивана Прокопьевича.

«Ничего себе страсти! — пожалел я стариков. — И здесь, в деревне, им от них покоя нет...»

А Марья Ефимовна меж тем распалается — уже кричит на мужа:



— Да я тебе говорю: убил он её! Ты чо такой упрямый-то, как бык? Вот щас как понужну лопатой!..

«Господи,— переживаю я за них,— да зачем же так изводить друг друга на старости лет из-за глупых родственников? Ведь этак и до рукоприкладства дойти можно!..» Но тут вдруг явственно слышу имя «Эсперанца», и до меня доходит: да ведь они обсуждают очередной латиноамериканский телесериал!

Наконец они затихают на минуту; Марья Ефимовна громко спрашивает меня из-за забора, сколько времени. Я отвечаю.

Она спохватывается:

— Ой, опоздали! Опоздали! — и, накинувшись на мужа: — Вот, опять из-за тебя всё, из-за твоего бычьего упрямства! — бросает вёдра и бежит по огороду вверх — домой.

Иван Прокопьевич ковьялет вслед за ней на больных ногах, отстал. Куда это они опоздали-то?

Я оглядываю огороды: вилы, лопаты, вёдра — всё брошено, никого, всю деревню будто ветром сдуло; и тут до меня доходит: побежали смотреть сериал по телевизору. А завтра с утра, между прочим, опять обещали дождь.

Над этим можно, конечно, и посмеяться. И знаю, сколько юмора, от безобидного до злого, уже выплеснуто по этому поводу перекормленными потребителями культуры. Но мне почему-то не смешно — мне обидно за своих земляков, у которых нет иной духовной пищи, кроме той, которой кормит их «ящик», — а даёт её «ящик» так мало и при этом ещё бессовестно пользуется их духовной темнотой, всю её, эту темноту, эксплуатируя.

И всё же трогает эта не убитая ничем тяга их к «красивому»: к романтической любви, к эстетике человеческих отношений, одежды, жилища — именно тому, ради чего смотрят они эти бесконечные сериалы, а потом горячо и заинтересованно обсуждают увиденное; трогает эта жажда вырваться из грубой обыденности, куда загоняет их жизнь; ради утоления её они так беззаботно и простодушно забывают на час про свои ежедневные труды, заботы и хлопоты.

## Про Ирину

Старухой Ирину никак не назовёшь, хотя ей уже за шестьдесят: статная, с осанисто поднятой головой — из настоящих, коренных сибирячек; в тёмных, густых, гладко расчёсанных на прямой пробор волосах — редкие сединки. Ни разу не слышал, чтобы лишнее слово сказала или бы стрекотала с бабами в магазине, этом своего рода деревенском клубе: поздоровается, купит что надо и с достоинством удалится.

Пока ещё был жив её муж (последние года два он был хвор и обезножел), она взяла на себя уход за несколькими имевшимися у них пчелиными семьями, а когда мужа схоронила, то так и продолжает их держать.

Мало того: когда пришла в Таловку катившаяся год от году по Сибири с Дальнего Востока на запад эпидемия пчелиного клеща, варроатоз, доселе неизвестный здесь, и пчёлы в Таловке гибли от этого клеща целыми пасаками (помню времена, когда чуть ли не в каждом подворье стояло по пятнадцать-двадцать «колодок» и мёд без преувеличения лился рекой), у Ирины не только все пчелиные семьи остались целы — она ещё и продолжала всюю приторговывать мёдом; стало быть, дела на её пасеке шли совсем не худо, на зависть мужикам, которые держали пчёл всю жизнь, но занимались ими по старинке, лениво, не умея бороться с новыми болезнями, а если и боролись, то абы как. А Ирина, видимо, читала специальную литературу и пользовалась новейшими препаратами. . . Это я так думаю; она-то, как это принято в деревне, о своих делах помалкивала, да, наверное, только посмеивалась над незадачливыми мужиками.

В деревне же насчёт её успехов — свои соображения. Вот они (стараюсь передать дословно — причём высказывали их, перебивая одна другую, сразу несколько женщин, с которыми я разговорился однажды на эту тему, причём делились они своими соображениями без всякой тени сомнения, как о давно всем известном, неизвестном по нелепой случайности только мне одному):

— Чего ж у неё пчёлы-то водиться не будут? Да потому что нечисто у них в доме! В тихом омуте, как говорится. . . У них же в семье испокон веку бабы — колдуньи. Ну, неправда, чо ли? Ещё, бывало, мать еёная любила, грешным делом, кобелём чёрным обернуться: все дворы тёмной ночью обежит, обшмыгает, да всё в лес норовит. . . Нарочно перетянешь его палкой-то, приди к ней назавтра — за бок держится, охает. . . А сама Ирина чо откальвала? Ой, да чо говорить! . . И дочь у неё такая же. Вон Таня Скопцова сына за её дочь отдала — так он пять лет матери родной глаз не казал. Внучка пришла, а Таня как заплачет-заплачет. Внучка-то и спрашивает: «Ты чо, баба, плачешь?» — «Да как не плакать-то? Папка-то твой пошто дорогу домой забыл?» — «Дак я его приведу!» — отвечает. Пошла и привела: знать, и внучка-то уже к колдовству приучена, — ведёт его за руку, сама ма-ахонькая, а он вот ровно сонный — как бычок на верёвочке — идёт за ней покорно. Порог-от переступил, да как заплачет-заплачет! Мать плачет, и он тоже — оба *ревят*. Хочет он чо-то сказать, перед матерью повиниться — а не может, только рукой машет. Мать-то и говорит: «Ладно, не надо, сынок. Понимаю я: попался ты им ни за понюшку табаку; знатко, опоили они тебя. . .»

## ВАСЯ

Одна из замужних дочерей моих соседей справа, приезжавшая по выходным из города помогать родителям по дому и в огороде, рассорилась с матерью и «отделилась»: внизу, на задах огорода, муж её Вася огородил часть луга, вскопал дернину, засадили они с женой

участок смородиной и клубникой, наделали гряд, и, по контрасту с родительским огородом, где сорняки теперь изрядно глушат всё, что ни посажено, участок их стал просто образцовым: идеальной геометрии гряды, нигде ни травинки, всё буйно цветёт, наливаются и радует глаз.

Жена Васина с детьми ведаёт огородом, а сам Вася занимается обустройством. Мужик он молодой, могучего сложения, трудолюбивый и сноровистый, так что обустройство идёт в хорошем темпе: сначала вырос ровный, по шнуру, забор из строганого штакетничка, выглядящий таким нарядным франтом посреди деревенских чёрных полуразвалившихся, кособоких жердяных изгородей; потом вырос дощатый засыпной домик с рубероидной кровлей; затем в домике появилась печь с трубой, и из трубы повалил кудрявый дымок; с одной стороны от домика появилась высокая поленница дров, а с другой — вылез из земли крутолобый, обложенный дёрном погреб. Потом домик был облицован проолифленными плашками «в ёлочку», сразу став нарядным, как игрушка.

Потом от участка к речке протянулась строчка столбов, по столбам проброшен голубенький провод, а рядом со столбами выкопана была канавка, и на дно канавки легла стальная труба, засыпанная затем, а засыпку сверху закрыли пласты дёрна, так что через месяц, после дождей, дёрн зазеленел — не видно, где и труба пролегла. В трубах по вечерам теперь, журча, течёт от речки на участок вода, а возле каждой грядки выросло по бочке, полной воды, и зелень на грядках стала ещё пышнее и обильнее.

Конечно, не в один день всё это возникло и даже не в один год — года за три, не меньше: всё ведь — только по выходным.

Честно признаюсь: для меня нет приятнее зрелища, чем видеть, как на пустом месте, из ничего, можно сказать, растут плоды человеческих рук, как люди терпеливо и неумоимо благоустраивают землю и выют себе гнёзда. Это ведь особенно актуально в Сибири с её немереными пустыми пространствами.

Вася меня просто восхищал: сколько же в нём здоровой неуёмной энергии, терпения, сколько любви к земле, к труду!.. И в то же время — сколько пустой траты сил: всё ведь — вручную, без единого механизма; всё по досочке, по кирпичику, по железке принесено на себе, перевезено в электричках! Да рационализируй он труд, примени механизацию — усилия вознаградятся вдесятеро! Сколько бы он мог благоустроить земли!

Надо сказать, что и сам по себе он человек симпатичный: светлолицый, открытый, весёлый. Мы подружились, на «ты» теперь, и можем побеседовать всерьёз на огородные или политические темы, а можем и подтрунить друг над другом; приедет он в дождь, идёт, нагруженный сумками, — я ему:

— Что ж ты, Вася, хорошую погоду не привёз?

А он мне, не моргнув глазом:

—Привёз! Завтра с утра продавать буду — приходи!

Давно собирался о нём написать; смущало одно обстоятельство. Помню, ещё когда у него появился забор из штакетника, я простодушно спросил его, где он купил такой красивый строганный штакетник, и он мне не менее простодушно ответил:

—Я его не купил, а украл.

—Где? — невольно заинтересовался я.

—На своём заводе...

И уже потом, привозил ли он доски или кирпич, рубероид или рамы, трубы или оконное стекло, на мои любопытные вопросы: «Украл?» — он отвечал почти неизменно: «Украл». Изредка ответ варьировался: «Взял за бутылку». А это значит, что материал тоже украден, раз продается по дешёвке, и сосед мой при этом, стало быть, сообщник. И чтобы уж раз и навсегда ответить на все мои последующие вопросы, он заявил однажды:

—Всё здесь, до последнего гвоздя, украдено, — и хмыкнул презрительно: — Ещё чего — покупать!..

Ну и как вот о нём писать прикажете? Герой — и ворует?

Ладно ещё — в советские времена, когда почти ничего купить в магазине было невозможно и все как-то «выкручивались», ловчили, где-то что-то «доставали», главным образом за бутылку, а те, кто ничего не мог «достать», — приворовывали... Но теперь-то, когда всё можно купить, когда из государственных, или, в бытовом понятии, «ничейных», предприятия превратились в акционерные общества, то есть попросту — в частные!..

Нынче весной Вася затеял строить на своём участке новый дом — рубленый. Сварганил четырёхколёсную длинную тележку; вечерами, после трудов праведных на огороде, как только начинает темнеть, отправляется с нею в лес и, смотришь, везёт на себе оттуда тяжеленное, килограммов в триста, бревно. А утром оно уже в срубе. Разумеется, без всякой выписки в лесничестве, то есть опять же украденное у государства.

Ну ладно, воровать у государства — это уже так привычно, что и за воровство-то никем не считается... А к осени дом его оделся нарядной, сверкающей кровлей из алюминиевых листов.

Знаю, что алюминий нынче чуть ли не в цене золота и принадлежит он акционерному обществу, коим стало с некоторых пор его предприятие. Интересуюсь у соседа:

—Купил?

—Да ну, что я, миллионер? Украл, конечно, — по-прежнему с бесшабашной откровенностью отвечает он.

Тогда я его спрашиваю: как ему это удаётся — там ведь, наверное, сторожа стоят, охрана?

Он смеётся над моей наивностью:

— Если хочешь украсть — никакие сторожа не удержат: всегда можно найти способ! Или договориться...

Потом, почувствовав, видимо, что слишком много сказал, начинает оправдываться:

— Да у нас на заводе все воруют, а начальство — больше всех. Что ж я, спокойно смотреть буду? Да я после этого уважать себя перестану!..

И вот, после некоторых логических размышлений, не вдаваясь в тривиальные рассуждения о том, что Вася, будучи членом акционерного общества, ворует вроде как у себя самого, я склоняюсь к тому, что Васе, видимо, просто позволяют воровать — специально оставляют ему лазейку, вовлекая его в соучастники, чтобы он не «возникал» и не возмущался, и Вася, по простодушию своему, на эту удочку ловится. Хотя и понимает, что он — соучастник, но никогда там, у себя на заводе, открыто не возмутится тем, что все вокруг воруют. Просто будет продолжать втихомолку тащить «причитающееся» ему согласно своему небольшому статусу. Поэтому он, чтобы уж раз и навсегда поставить на этом точку, заявил мне однажды своё кредо: — Воровал, ворую и буду воровать, и никто меня не остановит!

И столько было в этом его своеобразном кредо достоинства и скрытого сознания того, что он всего лишь берёт законно ему причитающееся — не более того! Просто называется это деяние несколько неприятным словом «воровство», за неимением другого, более адекватного.

Вот такой, с позволения сказать, менталитет.

И когда я размышляю о том, когда же у него кончится эта лафа, то всё больше склоняюсь к мысли, что на Васин век вполне хватит. А дальше — не знаю...

## РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА

Зина — явно моложе своих лет и на роковую женщину совсем не похожа: голубые распахнутые глазки в сеточке мелких морщинок, которые заметны, когда она улыбается, вздёрнутый носик, аккуратный улыбчивый ротик с полными губками (так, уменьшительно, я называю все её черты потому, что они и в самом деле мелковаты); в русых волосах — ни сединки, причём всегда они зачёсаны и увязаны в пучок на затылке, а на висках кудрявятся пушистые завиточки.

Ходит она летом, в отличие от других деревенских женщин, с непокрытой головой, а уж если прикрывает её — то непременно яркой косынкой, чаще — жёлтенькой, с алыми розочками по ней.

Не знаю, со всеми ли она так любезна и приветлива, но мне всегда улыбается и приветствует обязательно первой.

Женщины деревенские, когда «запускают» коров (то есть бросают доить их за месяц до отёла) — а бывает это обычно зимой, — хоть и намораживают перед этим круги молока про запас, но нет-нет да забегают одна к другой попросить свеженького (а заодно и поболтать,

имея к тому вполне серьёзный повод); однако к Зине при этом никогда не ходили — брезговали: и волосы-то её собственные можно у неё в молоке найти, и припахивает-то оно навозцем — ленится вымя корове подмыть перед дойкой. Хотя дачники молоко её всё равно разбирали: им, мол, и так сойдёт.

Держала она, пока муж был здоров и мог косить, по две коровы, бойко торговала молоком и здесь, и в городе и любила прихвастнуть своей оборотистостью — лихо шлёпнет по бедру ладонью, подмигнёт задорно и скажет: «А денежки-то капают!..» И, глядишь, «накапало» у неё сначала на скромный домик сыну в городе, а потом и на хорошую квартиру.

А в общем-то — женщина как женщина. Так бы и прожила, никак не проявившись, своей век за мужем, как за каменной стеной, занимаясь своим огородом и коровами. Но заболел муж. Где он простудил почки, неизвестно: то ли в тайге, будучи профессиональным охотником, то ли по пьянке, до которой был, пока не заболел, тоже большой охотник. Только заболел он круто; сделали ему в городе серьёзную операцию, да так, что вывели мочеточник сбоку, и отправили домой, и теперь он лежал с банкой, приделанной на боку, на кровати возле печки. Естественно, уход за ним нужен; запах появился.

Пришлось одну корову продать, другую зарезать. У Зины больше времени появилось; переключилась продавать в городе чеснок, да морковку, да зелень разную; только вот крепко привязывали её к дому, не давали развернуться хлопоты о больном муже.

И это ей, видно, поднадоело; наложила она однажды рано утречком полную печку дров, а меж дровами засунула все, какие были, мужнины охотничьи боеприпасы, и поехала к сыну в город с очередной сумкой чеснока на продажу.

Муж лежал-лежал, замёрз, встал — он кое-как ходил по избе вместе с банкой на боку, затопил печку и тут же вышел по нужде из избы — баночку опростать, а в печке в этот момент и бабахни; от печки лишь куча кирпичей осталась. Естественно, всю его кровать завалили. Только потому и остался жив, что вышел на минуту.

Вечером Зина приезжает и — голубые глазки навывкат: ах-ох, что случилось? А муж даже побить её не может — сил нет.

Но сошла ей с рук проделка: ближайшая власть — в большом селе за пятнадцать километров, милиции не дозовёшься, да и кому охота связываться с милицией? Соседи же только головами покрутили: «Ну, Зи-инка!»

А муж её, протянув ещё месяца два, всё же умер. Правда, своей смертью. Хотя кто знает, что претерпел он тогда в полной дыма избе, дрожа от холода и исходя бессильной злобой, и насколько это придвинуло его конец?..

Прошло с год, и жила это время Зина одна. А тут сосед её, бравый ещё пенсионер, жену похоронил.



Новоиспечённый боббель горевал: сорок лет — душа в душу, большое хозяйство осталось на одного: огород, лошадь, корова, тёлка, подсвинок, куры... И Зина наладилась помогать боббелю корову доить. А вскоре и совсем к нему перебралась... Боббель, отгоревав, достал со шкафа забаву молодости — гармонь, и пошла у них весёлая жизнь.

Я как-то вечером зашёл к нему — попросить назавтра лошадь, дрова из тайги вывезти, — сидят за столом, пьяненькие и весёлые оба: он, потный, красный, в новой зелёной рубаше, на гармонии наяривает; она, в розовой кофточке с блёстками, — рядышком, расплывшись в улыбке; в волосах — алые бантики; щёчки полыхают — не то нарумянила, не то сами разгорелись. Как там оперная Кармен поёт? «Любовь всесильна. Всех чаруя...»? Ещё и меня в пьяном задоре за стол тянули, да я отказался — без меня им было куда веселей и свободней.

Под эту весёлую жизнь они съели сначала кур, потом подсвинка, потом он зарезал большую огулявшуюся тёлку (что на деревне — грех непростительный), потом продал лошадь, а потом — и корову... А через полгода бравый этот пенсионер умер с перепоя — сердце не выдержало перегрузки.

Съехались дети пенсионера и — давай Зину трясти: у отца была сберкнижка — где она? Где деньги за корову? Где — за лошадь?... К тому же оказалось, что она успела ещё и дом его на себя оформить. Еле-еле удалось им дом отстоять. А денег так и не нашли — как в воду канули...

После этого она перебралась в город, к сыну. В Таловку теперь наезжает только весной и летом: посеять, а потом убрать и увезти овощи.

В городе у неё уже целое «дело»: овощная палатка. Я знаю, где эта палатка, и когда прохожу мимо, мы обязательно здороваемся; Зина стоит, краснощёкая и улыбочивая, в шубе и сапогах, и никакой мороз её не берёт... И как увижу её — тут же вспомню, как она лихо шлёпает ладонью по бедру и говорит звонко и задорно: «А денежки-то капают!»

## БАЛОБАНЫ

Балобаны вообще-то — хищные птицы из семейства соколов. Но я не о тех балобанах, а об одной семье по фамилии Балобаны. Или, может, Балобановы? В паспорта их я не глядел, а в Таловке у нас окончания фамилий часто усекают.

Отца-Балобана, царство ему небесное, уже нет в живых. Был он инвалид, со скрипучим протезом вместо одной ноги, получал пенсию по инвалидности, и они всей семьёй — с женой и младшим сыном Гришкой — на эту пенсию и жили. Ну, естественно, ещё корова и огород.

Была у Балобана-старшего как у инвалида войны своя легковая машина, ярко-красный «москвич» с ручным управлением; стоял он всегда прямо на улице под окном, и никто его не трогал. А куда на «москвиче» в Таловке уедешь? — кругом горы да ручьи и болота меж гор. Разве что по деревне, и то — если сухо. Он, Балобан-старший,

и ездил только по деревне, когда крепко «засадит» с пенсии: сядет, газанёт, включит четвёртую, проедет с километр да и сверзится в канаву или по самые оси в луже засядет — и зовёт соседа с лошадью; смотришь, упирается бедная лошадь, тащит «москвич», так устряпанный, будто это и не машина вовсе, а огромный комок грязи. Потом жена отмывает и машину, и самого хозяина.

Но речь-то не о Балобане-старшем, а о его сыне Григории. Пока рос, был он бедовый сорванец, неуч, драчун и мелкий воришка, специалист по чужим огородам. А когда появились дачи, стал главным у нас ходоком по дачам. Подросши, по укоренившейся уже с некоторых пор в деревне среди юношества традиции, сделал «ходку» сначала на пару лет в тюрьму, потом — в армию.

После армии, превратившись из рыжего, длинношеего и длиннорукого горлопанистого недоросля в ражего могучего парнягу, женился и осел в деревне, а на работу устроился в городе, в охране мелькомбината: сутки дежурит, двое отдыхает.

С тех пор в деревне главным, даже в какой-то степени магическим словом стало слово «комбикорм». Раньше о нём и знать-то знали понаслышке, а теперь как сойдутся вместе двое-трое мужиков ли, женщин ли — так сразу и пошло: «комбикорм», «комбикорма», «комбикормом»...

Дело в том, что каждый раз, когда Григорий возвращается электричкой с работы, то везёт с собой мешок этого комбикорма и обеспечивает им, таким образом, весь свой «край» деревни. Ему и нести этот мешок со станции не надо — его уже ждут на перроне с саночками или с тележкой. Причём продаёт он его совсем дёшево, чаще всего — за бутылку водки или даже «керосина», то есть технического спирта-сырца.

Мужики — не сразу, конечно, а в течение нескольких лет — совсем перестали косить сено: зачем оно, это сено, когда заварил ведро комбикорма — корове на целые сутки хватит, и никакой мороки? А лошадей, у кого были, продали татарам на махан. Потому что лошадь в Таловке главным образом для заготовки и вывозки сена нужна, да на неё самоё ещё накоси; а дрова вывезти или огороды весной вспахать — двух-трёх лошадей на деревню за глаза хватает.

Я исподволь интересуюсь у соседей: почему Балобан так дёшево продаёт комбикорм? На меня смотрят снисходительно и посмеиваются: ты что, дескать, ненормальный?.. Кто-то, более серьёзный, и отвечает серьёзней: «Потому что не купленное!» Дальше наконец я сам догадываюсь.

Гриша Балобан, уже и не парень теперь, а мужик, важный, краснотлицый, летом и зимой постоянно в военной камуфляжной форме, придающей ему ещё более значительности, проходит теперь по деревне этаким хозяином, посматривая на всех, в том числе и на своих, деревенских, остекленелым пустым взглядом свысока, ни с кем

первым не здороваясь. В то же время с ним торопятся поздороваться все встречные, мужчины и женщины, даже пожилые, подобострастно при этом улыбаясь и кивая, с лёгким поклоном, и только самые доверенные ему люди решаются пожать его руку; он же в ответ на эти приветствия лишь скособоленно кривит рот с выражением полного презрения, и вместо «здорово» у него получается: «дрóва».

— Во жись, во место нашёл — каждый день пьяный! — говорят вслед ему мужики с восхищением и завистью...

Однако среди самых последних новостей по деревне разнеслось: посадили Гришу Балобана, надоело ему воровать комбикорм мешками, решил с товарищем по охране украсть сразу вагон. И в Таловке переполох: что же делать-то? Зима на носу, а во дворах ни клочка сена.

А я, слыша про этот переполох, думаю не о Балобане — с ним всё ясно: когда-то, рано или поздно, этим и должно было с непреложностью кончиться, — а думаю о простодушных мужиках-хозяевах. И когда думаю о них, приходят на ум воробьи и синицы на нашем дворе. Матушка моя из сердобольности прикормила их: каждый день выносит им по горсточке хлебных крошек со стола, и они, привыкнув, сидят с раннего утра до позднего вечера стайкой, мёрзнут и всё ждут и ждут, а самые смелые дошли до того, что барабанят клювами в оконное стекло: давай, дескать, выноси — и всё тут! Я говорю матушке: нельзя их так баловать — разучатся добывать корм сами и в конце концов погибнут. Нет, всё равно, знаю, потихоньку от меня даёт, сердобольная душа. И что с ними только будет?..

## ЗАБАСТОВКА

Одно время по радио каждое утро передавали: то тут, то там забастовки; бастовали тогда по всей России, от Петербурга до Владивостока; а тут как-то прихожу в магазин и слышу: Таловка тоже забастовала!

По какому поводу? А дело в том, что за железной дорогой (за «линией», как здесь говорят) есть посёлок из нескольких бараков — в них живёт бригада железнодорожных рабочих с семьями, и вот бригада эта не вышла на работу. Но если во всей остальной России бастующие обычно требуют выплаты денег, то нашей таловской бригаде, судя по тому, как водка в нашем магазине раскупается регулярно и главным образом торгуют там только ею, деньги платят исправно; в виде ультиматума бригада, оказывается, потребовала, чтобы в магазин (принадлежащий железнодорожному ОРСу) завезли овощи — лук и капусту.

Наша уважаемая продавщица Любовь Никитична возмущается этим в кругу собравшихся возле неё деревенских женщин, а те комментируют её; комментарий, предельно язвительный, касается жён железнодорожных рабочих, обитательниц бараков. Ох и достаётся им тут: что бы тем женщинам, дескать, делать не надо, то они умеют очень даже хорошо — а вот лук и капусту вырастить толку не хватает!..

Да и действительно, ситуация нелепейшая: надо в нашу глухомань везти эти самые лук и капусту — и откуда? Из города!

А возмущается Любовь Никитична требованиями рабочих потому, что у неё с этими овощами вечно проблемы, каждый год одни и те же: во-первых, овощи — товар грязный, а магазин тесноват — тут и хлеб, и крупы, и сладости, и всякие дорогостоящие фасованные товары; а во-вторых, как только настанет зима, эти овощи обязательно замерзают, потому что отапливается магазин от небольшой котельной, а сторож, он же по совместительству и истопник, Иван регулярно напивается и перемораживает отопление; потом приезжает бригада из четырёх человек и ремонтирует это отопление целый месяц, причём работает из этого месяца всего два-три дня, а остальное время пьянствует (всё это, разумеется, за счёт железной дороги; а мы удивляемся, почему билеты дороги). А потом, недели через две, Иван опять это отопление перемораживает. Такова примерно подоплёка возмущения Любви Никитичны. А я гадаю: заставят её брать на реализацию овощи — или отбрыкается?..

Не отбрыкалась — заставили как миленькую: через неделю овощи появились.

Хорошо хоть картошки сейчас не требуют, а года два назад требовали продавать и картошку. Но приезжал какой-то начальник, уговаривал железнодорожников сажать её, сам семена доставал, организовал вспашку. От капусты же и от лука они всё-таки отвернулись.

Думаю об этом, а мысли мои возвращаются на четверть века назад.

Отец мой, выйдя на пенсию, возымел желание заняться пчеловодством и попросил меня отыскать такое местожительство, где был бы хороший медосбор, и — чтоб не очень далеко от города. Я, взявшись за изучение вопроса основательно, пролистал в краевой библиотеке всю литературу по этому вопросу и наткнулся на интересную информацию из дореволюционной книги: мёд, взятый в районе Таловки, на Всемирной Парижской выставке 1899 года получил золотую медаль!

Поехал я посмотреть, что собою представляет эта Таловка, и поразился; много я видел сёл и деревень, сам родился и вырос в селе, но такого деревенского изобилия до этих пор не встречал: чуть ли не в каждом дворе по две коровы, лошадь, бычки, свиньи, телята, куры, ну и, конечно же, пасека в десять-пятнадцать ульев. А вокруг — тайга, хоть и изрядно вырубленная ещё в тридцатые годы, однако богатая ягодами, грибами, черемшой, кедровым орехом; покосы в лесах, травостой по пояс. И необозримые пространства вокруг — хватит, наверное, разместить если не Голландию, то уж герцогство Люксембургское точно.

Купили дом; договорился я с экспедитором, что развозит в вагон-лавке товары по станционным магазинам, перевезти родительское имущество. Погрузили с братом и поехали. А дело было перед седьмым ноября, самым великим революционным праздником. Наши вещи

в вагон-лавке места заняли немного, а всё остальное пространство вагона занимали ящики с водкой и прочим товаром. И вот на каждой станции — да и не станции то вовсе были, а, скорее, так себе, полустанки, — выгружал экспедитор праздничный подарок власти народу: сто ящиков водки, ящик варёной колбасы и несколько ящиков хлеба. И так на каждой станции. И в Таловке столько же: на сотню дворов — сто ящиков, две тысячи бутылок.

Магазинным грузчикам помогали принимать ящики с товаром весёлые доброхоты из местных, потирая руки и жажда выпивки. Мы с братом, чтобы быстрее ехать дальше, соответственно, помогали экспедитору эти ящики выгружать. Помогали и пересмеивались: ничего себе праздничные дозы! Я и до этого понимал, что советская власть людей безобразно спаивает, но истинное представление о масштабах спаивания получил только тут.

А ящики всё шли и шли, и в праздники, и в будни, год за годом, десятилетие за десятилетием. Деньги у таловцев были: работали они на железной дороге, на лесопилке, что на соседней станции, мотались на работу в город, охотились в тайге, приторговывали съестным припасом с подворья — мясом, молоком, сметаной, мёдом — и хотели бы покупать на свои деньги доски, шифер, кирпич, стекло, гвозди, однако ничего этого достать было невозможно; хотели бы и одеться получше, и покупать что-нибудь вкусенькое к празднику, но в магазине свободно были только фуфайки, кирзачи, пряники и водка, всё остальное — в драку. Вот и пили водку; пили мужчины, пили женщины, пили подростки.

А теперь, оглянувшись назад, понимаешь, насколько горько этой моей усмешки тридцатилетней давности: ещё не столь давно избыточная деревня иссякает; едва ли в каждой десятой избе осталось по работнику; остальные же, цветущие, сильные мужчины тех лет, подорвавши здоровье водкой и не давши здорового потомства, раньше срока переместились на кладбище; так и лежат, как жили, — уличным порядком. Ещё в каждой из десяти изб теплится жизнь, поддерживаемая вдовами. Остальные пусты; ночами в них шныряют приехавшие из города вечерней электричкой поживиться и утащить что-нибудь, чтоб наскрести на бутылку, голодные злобные «бичи», дети и внуки тех таловцев или подобные им выходцы из таких же деревень. Потому что пополняют деклассированные городские низы, по мнениям социологов, главным образом сельские выходцы. После того, как они спиваются и опускаются на дно жизни в городе, остатки инстинктов гонят их кормиться ближе к земле, в опустевшие деревни.

Интересно, можно ли себе представить, сколько же тысяч или, может, миллионов тонн водки выпила, перегнала через себя Россия за все прошлые годы, чтобы стать такой вот — ленивой, безвольной, полудиотической? Чтобы превратить в кладбища цветущие деревни

посреди буйства и несметных богатств природы, посреди которой стыдно быть бедным и голодным?

А что же таловская бригада? Лука и капусты для них теперь в магазине пока вволю, так что больше — никаких проблем; живут весело. Но будущего у неё нет — вся бригада, без остатка, тоже со временем вымрет: на десяток семей (скажем прямо, условных семей) — всего трое детей-школьников: две девочки и мальчик. Своей школы в Таловке нет уже лет десять, и дети ездят в электричке на соседнюю станцию — там школа. Старшей девочке — лет двенадцать, мальчишке и другой девочке — примерно по десять. Все они не в меру крикливы, драчливы, нервно взвинчены, и все безобразно сквернословят. Старшая, двенадцатилетняя, демонстративно поглядывая на взрослых, в ожидании электрички закуривает и курит по-взрослому, «взатяжку», жадно иссасывая сигарету до конца. Смотрю на них и вижу: нездоровые, с щербинками и зазубринами в психике дети. Что с ними будет через десять, двадцать лет? Нет будущего у таловской бригады. И что станет лет через двадцать пять, спустя ещё поколение, с самой Таловкой?

## БАБА ГРУНЯ И ДЯДЯ МИТЯ

Её прозвали в деревне Прокурором.

Глухая и полуслепая, в очках с толстенькими линзами, но высокая и могучая старуха, не согнутая годами и недугами, ходит она хоть и с толстой палкой, но поступь у неё, надо сказать, прямо-таки царственная, так что суковатая палка её оборачивается неким знаком власти.

Говорить с ней, как со всеми глухими, ужасно трудно: понимает она с пятого на десятое; ты ей про Фому, а она тебе про Ерёму; притом голос у неё, характерный для глухих, ужасно громок и скрипуч, и говорит всегда главным образом она сама, перебивая и не слушая; в ответ надо только кричать «да» или «нет» и, соответственно, кивать или отрицательно мотать головой; впрочем, она и этого по слепоте своей частенько не замечает, а посему её надо просто терпеть.

При этом она общительна и любит ходить по гостям. Особенно после того, как умер её муж, дядя Митя (как его хоронили — рассказ отдельный). Она каждый день к кому-нибудь да идёт в гости, ловко отбиваясь от самых лютых собак палкой и барабаня ею в ставни, в окна, в двери; её пускают и, хотя и посмеиваясь над нею тихонько, но слушают: она в деревне — в роли ходячей газеты, переносчика из дома в дом новостей. Она же — и ходячий календарь, христианский, лунный и агрономический: знает и хорошо помнит очерёдность всех праздников и святых дней, приметы и сроки посева, прополки и уборки урожая.

Есть у бабы Груни несколько любимиц, которым она уделяет внимание больше других, заходит чаще и говорит охотней. Одна из них — моя матушка.



Начало марта; сибирская зима ещё пробрасывает утрами жёсткую снежную крупу и продирает щёки наждаком колючего хиуса, но солнце уже светит веселей и ярче: глянет днём из-за рваных туч — крыльцо и завалинка так и закуруются тёплым паром... Приходит баба Груня, усаживается, протирает запотевшие очки и учиняет матушке допрос: — Помидоры-ти не посеяла? Ну ты чо же, Митревна, думашь? Втора неделя Великого поста идёт, а у тебя ни у шубы рукав!

— Да не люблю я рано сеять! — изо всех сил кричит, жалко оправдываясь, матушка. — Слишком вытягиваются — толку нет!

— Нет, мать, сей, сей давай, уже все посеяли! — напирает баба Груня. — Сей, я тебе говорю!..

Начало мая. Шумит день и ночь в ручье за огородами полая вода, на северном лесистом склоне горы, что за ручьём, ещё белеют снежные проплешины, а в огороде уже тепло от солнца, дымит парная земля, выпирает нежная травка на меже вдоль тропки посреди огорода; скворец над крышей сыплет трели, весь трепещет от любовной истомы.

Баба Груня, зайдя во двор, решительно проходит в огород, критически осматривает его, затем входит в дом, и с ходу — замечания: — Капусту, смотрю, посеяла в парнике. Когда посеяла? Вчера? Ой, что натворила, Митревна, что натворила! Месяц-то, месяц-то на последней четверти, да рогами в землю!

— Да не верю я в эти приметы, — опять оправдывается матушка. — Чувствую — пора, вот и посеяла.

— А что страшного-то? — спрашиваю я у бабы Груни.

— Так ведь не будет капусты! — решительно заверяет она. — Блоха источит, червь съест! Зря, зря поторопилась! А морковку посеяла?

— Нет ещё.

— Вот её-то бы надо сеять! Сеять, сеять! Это что ж такое: Иверская прошла, а у тебя ни у шубы рукав! Сей немедленно!

— Хорошо, хорошо, ладно, ладно! — успокаивает её матушка...

Летом баба Груня проверяет, всё ли прополото и полито, а главное, всё ли идёт по приметам, и обязательно находит неувязки и несоответствия... Матушка терпеливо выслушивает её, но делает по-своему — всю жизнь она ведёт огород, почитывает при этом агрономическую литературу, делает кое-какие записи и заметки на память: такого-то числа погода такая-то, посеяно то-то, всходы тогда-то... И, слава Богу, всё в нашем огороде, вопреки бабы-Груниним прогнозам, растёт как надо...

Однажды, уже во время копки картошки, обедаем с матушкой — входит баба Груня, зырк на стол, и — замечание матушке, будто уличила в нехорошем:

— Что ж ты сыну бутылку-ти никогда не поставишь?

Мы с матерью переглянулись.

— Он, чай, взрослый человек, сам себе поставить может, — ответила она бабе Груне.

А я добавил, что, во-первых, на матушкины деньги не пью, а во-вторых — не время.

А старуха продолжает, перебивая и, вероятно, не слыша меня: — Нет, а я сы́нам обязательно с пензии беру! Как сынов не угостить? Сыны всё ж-таки!..

Ей было ужасно жаль меня; она всё сокрушалась и сокрушалась и не могла остановиться — что-то заело внутри у неё: тема, видимо, была для неё больной — у неё даже голос дрожал.

Я тогда ещё не знал подробностей её жизни, воспринимая её самое, как и все остальные вокруг, существом курьёзным, не более того.

Но именно её рассуждения по поводу бутылки побудили меня заинтересоваться подробностями её жизни — за ними что-то стояло, какая-то драма... Так оно и оказалось.

Дядю Митю, её мужа, в деревне уважали.

Как наденет, бывало, в праздник бостоновый синий костюм — медалей на нём! А среди них — главный солдатский орден, орден Славы.

Военным рассказам дяди Мити тоже, бывало, счёту нет: как в непролазных белорусских болотах тонул, да как Одер брали... Войну прошёл, что называется, от и до, и — ни царапинки: какой-то ангел его хранил. Сам он считал так: бабка его родная, когда уходил на войну, от пуль заговорила. Раз только слегка контузило; с тех пор голова слегка на бочок повёрнута осталась — шейный позвонок сместился.

А когда война закончилась — тут-то его сразу и скрутил жесточайший ревматизм: вышли, видать, ему боком белорусские болота; так инвалидом навсегда и остался — всю жизнь с клюкой... Кому такой нужен был? А баба Груня, по доброте своей, и пригрела его (тогда ещё, разумеется, никакая не баба Груня, а здоровая деревенская деваха).

В Таловке весь свой век так и прожили; Митя не работал — не мог, зато получал пенсию; только что помогал Груне управляться с огородом и с коровёнкой да за домом присматривал. Единственный грешок за ним водился — любил крепко поддать. Но только с пенсии. А пенсию, особенно под конец жизни, когда ветеранов шибко чествовать стали, получал очень даже неплохо.

Двух сыновей вырастили. Двух орлов, две надежды на более счастливую долю.

Но сыновья удались непутёвыми, пьющими. Подались оба после армии в город — много ли в деревне попьёшь? В деревне от зари до зари работать надо. Приезжали нечасто, раз в месяц, и угадывали всегда под самую Митину пенсию. Погужуются пару деньков — и опять в город, а у Мити с Груней после их гостеванья только-только на хлеб оставалось до следующей пенсии.

Так и жили, пока дядя Митя однажды не перекинулся — не проснулся утром после пьянки: то ли сердце не выдержало (годочки-то

уже не те), то ли отравы какой хлебнул — в это время в Таловке всё больше стало «палёной» водки. Сыновьям-то хоть бы что, а он вот...

Вызвали, как полагается, из районной больницы врача, чтоб справку на похороны дал; врачи знают местных стариков наперечёт и в случае их кончины дают справки после простого осмотра и констатации смерти; но тут приехал врач, посмотрел на мёртвого дядю Митю и велел везти в районную больницу на вскрытие: что-то ему стало подозрительно; да и ветеран войны всё-таки, на особом учёте состоял.

Сыновья — мужики шустрые, да всё вполпьяна; быстренько погрузили, отвезли. А тут из районного совета ветеранов хорошее пособие на похороны отвалили — ну, они на это пособие и загуляли. Неделю с горя пили. Когда всё пропили, вспомнили про отца, поехали, привезли, похоронили — всё честь-честью. Опять сколько-то дней пили: поминали.

Вдруг приезжает в Таловку команда молодцов, тоже, между прочим, все вполпьяна, — и к дядь-Митиным сыновьям:

— Отдавайте нашего отца! Вы вместо своего — нашего в морге забрали!

Те чуть не в драку:

— Как так? Не отдадим — это наш отец!

— А вот так! — говорят приезжие. — Вместо своего — нашего увезли!

Орали-орали, за грудки было уже взялись, да одумались: пошли все вместе на кладбище, откопали, присмотрелись — точно, не дядя Митя лежит!.. Вполпьяна ведь хоронили; да и осень поздняя была, холод, дождь пополам со снегом, мрак — вот и торопились скорее, видишь ли, к поминальному столу. А с бабы Груни что возьмёшь — вовсе слепа!

В общем, те молодцы выгнали из гроба своего папашу, забрали и увезли (шустры-шустры, а ведь тоже ушами хлопали!), а дядь-Митины сыновья поехали снова, привезли и похоронили вроде бы теперь отца; во всяком случае, никто больше прав на него не предъявлял.

Поминки на этот раз были скромнее: всё, что можно было выпить и съесть, сыновья уже выпили и съели до этого; оставалось пропить только скромное похоронное пособие из собеса.

Так упокоился наконец с миром ветеран войны, инвалид и кавалер ордена Славы дядя Митя. Мир его праху!

Всё, что с бабой Груней и дядей Митей происходило, — уже дела, как говорится, давно минувших дней. Теперь наша баба Груня — горожанка.

А как получилось-то?.. Когда дядя Митя преставился, соответственно, перестала идти и его ветеранская пенсия. А на бабы-Грунину пенсию много ли попьёшь? Вот сыновья и перестали ездить вовсе; один каким-то образом скоро в тюрьму попал, у второго — туберкулёз открылся. Жена от сына-туберкулёзника сбежала, внук в армии.

Сама баба Груня, уже не в силах держать огород, продала избушку и подалась к сыну-туберкулёзнику: кормить его и помогать чем-либо, да чтоб квартиру, если помрёт, сохранить для внука.

Туберкулёзник-то туберкулёзник её сын, а «пензию» её, совсем мизерную, не забывает регулярно отбирать у неё и пропивать; да ещё и колотит: требует денег, тех, что баба Груня выручила за избушку. А она эти деньги хитростью отложила себе на похороны: отдала тайком от сына одной надёжной знакомой в городе — чтоб та положила их на свою сберкнижку, а когда понадобятся, чтоб сняла и на эти деньги её похоронила честь честью.

И вот, приделавши к холщовому мешку лямки, наша горожанка баба Груня теперь наезжает время от времени в Таловку и идёт по старым подружкам. По-прежнему проверяет огороды и даёт нагоняй за небрежность и невнимание к святым праздникам и народным приметам. Потом, начав рассказывать про своё нынешнее житьё, вдруг заплачет-запричитает по-бабьи, в голос, схватившись за голову: «Ой-ой-ой, что делать, что делать?..» Расслабится этак на минутку, даст волю слезам, пожалуется на судьбу — и опять собралась с духом...

Деревенские подружки дают ей кто картошечки, кто капустки, кто морковки, и она возвращается в город, таща полный мешок. Это зимой. А летом бредёт в тайгу, собирая всё, что попадётся съедобного: черемшу, грибы, малину, жимолость. Не себе — сыну. А то попросит лопату и копает целыми днями корни шиповника, борца, молочая — от туберкулёза будто бы помогают.

Правда, последнее время её не видно. Что с нею? Или уж совсем обессилела и изнемогла? Или, может, внука дождалась, своей последней в жизни надежды, и юный внук не трясёт её старые косточки, не вытрясает из неё «пензию», жалеет её за все её страдания и не пускает христарадничать? Надежды на это, конечно, мало, но вдруг да?..

## ЛЁШКА

Летом, как только начинаются школьные каникулы, на моих соседей слева — вернее, главным образом на Марию Ефимовну — сваливается орава из шести-семи внуков; орава эта ежедневно съедает шестилитровую кастрюлю супа, такую же — варёной картошки, несколько буханок хлеба, не считая уймы других продуктов: тушёнки, сгущёнки и прочего, — и выпивает ведро молока.

Правда, орава эта и помогает, а хозяйство у бабушки с дедушкой изрядное: лошадь, корова, телята, ульи, огородище такой, что другой конец еле видать...

У Марьи Ефимовны (у них в доме твёрдо установленный матриархат, и с внуками управляется именно она) — явный педагогический талант: надо сказать, что работают они все, начиная с семнадцатилетнего Юрки и кончая шестилетней Машенькой, весело и довольно

прилежно, этакой дружной сельхозбригадой,— будь то прополка огорода, покос или заготовка дров.

Мне интересно, как она с ними управляется.

Способ, оказывается, простой и древний: строгая возрастная иерархия, независимо от пола; командует бригадой внуков самый старший из них, Юрка, и его авторитет бабушка всячески поддерживает: задания даёт ему, за работу и за дисциплину спрашивает с него, но доверяет ему и заботу о младших. Чувствуя на себе ответственность за это доверие, Юрка старается её доверие оправдать, и вся остальная детвора беспрекословно слушается его. А когда он ушёл в армию, его место тотчас занял следующий, Серёжка.

Но есть у Марьи Ефимовны ещё один внук, её горе,— это Лёшка...

Когда младший сын её и Ивана Прокопьевича Олег пришёл из армии, у моих соседей справа повзрослела дочка Анюта, смазливая вертлявая девчонка, выросшая в интернатах (в Таловке никогда не было средней школы, а теперь нет и начальной); и вот Олег с Анютой, не без активной помощи родителей с обеих сторон, поженились: родители дружили домами; захотелось домами ещё и породниться.

Молодые уехали в город, но жизнь у них не задалась — лет через пять разошлись; Анюта осталась с маленьким Лёшкой на руках. При этом, в свою очередь, *своиские* отношения моих соседей справа и слева тоже лопнули напрочь... А у Лёшкиных родителей, Анюты и Олега, сложилась своя собственная личная жизнь.

Пока их сын был маленьким, а сами они ещё жили вместе, их любимой забавой было учить сына матерным словам, а поскольку Лёшка по малолетству плохо их произносил и картавил — родители покатывались со смеху. Скажет Анюта: «Пойди, Лёшенька, скажи папе: „Папа, ты — ...“». Лёшка на ещё нетвёрдых ножках ковылял к папе и лепетал очередную непристойность; следовал взрыв хохота. После этого папа посылал его с аналогичным ответом к маме. Ребёнку, ещё ничего не понимающему, такая игра очень нравилась — всем же от неё весело!..

После того как родители разошлись, Анюта частенько отправляла его летом к Марье Ефимовне (поскольку родная Анютина матушка — женщина пьющая). Но когда стал постарше (лет этак с семи) — отправлять его к Марье Ефимовне перестала, считая, что её сыночка там заставляют «горбатиться». Отныне Лёшка стал жить летом только у пьющей бабушки. Зато была твёрдая гарантия, что он ни на кого не «горбатится», то есть попросту бездельничает.

Теперь ему уже лет двенадцать; иногда он наносит визиты Марье Ефимовне (как она считает, наученный не то своей мамочкой, не то другой его бабушкой) и сердито, насупленно заявляет:

— Давайте мне сметаны!

Марья Ефимовна наливает ему трёхлитровую банку молока, объясняя при этом, что сметаны нет, потому что его братишки и сестрёнки выпивают всё молоко.

Лёшка надувает губы:

—Фу, говна-то — молоко! Вы мне сметану дайте, я сметаны хочу!..

В конце концов, он уходит с банкой молока и с кислым лицом.

Приходит в следующий раз:

—Давайте мне мёда!

Бабушка наливает ему литровую банку мёда; он опять надувает губы:

—Что вы мне так мало? Вы мне ведро мёда дайте!

—Что же, я тебе весь мёд отдам, а твоим братишкам и сестрёнкам ничего не оставлю? — отвечает бабушка.

Лёшка забирает литровую банку и обещает:

—Ладно, осенью приду — вы мне всё равно должны ведро мёда дать!

—А где мы его тебе возьмём?

—Не знаю где! И будете телёнка колоть осенью — мне четвертую часть! А не дадите — козу вам заделаю!..

Наступила осень — Марья Ефимовна со страхом ждёт Лёшкиного визита. Советуется со мной: как быть? Действительно ведь может сделать какую-нибудь пакость... Я советую не поважаться, а давать отпор маленькому хаму: пускай научится сначала хотя бы вежливо разговаривать с бабушкой и дедушкой!.. Но они боятся: а вдруг он действительно «заделает» им мифическую «козу»? Их дом и всё их хозяйство испокон веку на виду и от пакостников никак не защищены.

А я смотрю на этого Лёшку и думаю: вот подрастает воспитанный родной мамой будущий бандит, рэкетир и террорист — из тех, что грабят, убивают, захватывают самолёты и автобусы с женщинами и детьми...

### «Я САМА!»

На телевидении ещё не столь давно показывали программу под рубрикой «Я сама!», в которой ухоженные московские дамы обсуждали свои дамские проблемы. Передача шла на всю страну. Когда она попадалась мне на глаза, я мысленно ставил на место московских дам наших таловских женщин, и мне живо вспоминался один маленький эпизод из жизни Таловки...

Апрельское солнце забралось непривычно высоко после зимы и жарит вовсю. Ужасно хочется сбросить с себя наконец надоевшие за зиму тёплые одежды и подставить солнцу бледную кожу, чтобы она размякла в его горячих лучах; однако раздеваться ещё рано — проносятся вокруг невидимые и лёгкие холодные ветерки. Во дворах, переключаясь, режут коровы, требуя выпустить их на луга, чувствуя обонянием запах сырой земли и проклюнувшейся свежей травки, и задорно во всё горло орут петухи; скворцы на скворешнях, нетерпеливо дрожа и топорща пёрышки, в свисте и щёлканье источают сладострастие; вся деревня, от края до края переключаясь таким образом, звучит как огромный, раскинувшийся на две версты оркестр.



Мокрая земля курится; из-под остатков сугроба в тени забора сочится слабый ручеёк; вода искрится под солнечным лучом сквозь жёлтую жухлую траву так, что когда смотришь на эту воду против солнца — больно глазам.

На высокой завалинке магазина сидят, греясь на солнышке, несколько женщин, говорят о своём и наблюдают, как калека-пенсионерка Дуся, сидя особняком от них на крыльчке, пытается своими двумя культиями вместо рук зажечь спичку, чтобы прикурить папиросу, которую держит в зубах. Она — в серой заношенной телогрейке и платке в мелкую чёрно-белую клетку; лицо у неё сухое и жёсткое, с острым носом и впалыми щеками, тёмной продублённой кожей и резкими морщинами.

Вот какая беда случилась у Дуси: сорок лет отбúхала путевой рабочей на железной дороге, благополучно вышла на пенсию и уже на пенсии стала инвалидом. Она не из бараков «за линией», не приезжая — она своя, таловская, а «своих» здесь так и зовут до старости, как звали, привыкнув, с детства: Дуся, Тося, Лёня, Саня... А у всех, кто работает на железной дороге, будь то мужчины или женщины, — одинаковая, профессиональная, можно сказать, болезнь: алкоголизм. Сами пьющие оправдывают его тем, что слишком часто — в зимний ли мороз, в летние дожди, в осенние ли или весенние холодные ветра, — в общем, едва ли не каждый день им приходится «греться». Деньги платят неплохие и вовремя, дома кое-какое хозяйство: корова, огород, а у кого и лошадь, — так что чуть ли не вся получка уходит на «сугрев».

Дуся, продолжая страдать этой болезнью по сию пору, нынешней зимой, получив пенсию — а пенсию привозит почтальонша и раздаёт в магазине (пенсионерам удобно: получил — и сразу к прилавку), — тут же взяла бутылку, тут же, в магазине, её выпила чуть не всю и пошла с сумочкой домой, да не рассчитала сил: возраст уже не тот, а дело к вечеру — зимой, известно, день короткий... Не смогла дойти до дома: далековато он у неё, на краю, — упала в мягкий сугроб и не смогла выбраться без чужой помощи — пролежала там часа три, пока об неё не запнулись в темноте. Сама-то ничего, только вот руки прихватило — оттереть уже не смогли. Увезли в город, ампутировали обе по запястья, оставив вместо них раздвоенные рогульками культи.

Теперь, применяясь к обстоятельствам, она молча и терпеливо учится всё ими делать. И вот она сидит на крыльце, зажав спичечный коробок меж колен, медленно, после многих-многих усилий, вправив спичку между багрово-красных рогулек раздвоенной культи на правой руке, ещё со следами свежих рубцов, пытается затем чиркнуть спичкой по коробку. Но спичка или выпадает, или обламывается, и Дуся всё начинает сначала.

— Дай, Дуся, помогу! — не выдерживают женщины смотреть спокойно, как она мучается.

— Нет, я сама! — упрямо твердит та.

Из-за угла, со двора, появляется и подходит к женщинам подсобный магазинный рабочий Клим. Он невысок и довольно щупл, но самоуверен.

— Здорово, бабы! — гаркает он. — Ну, про кого опять?

— Да вот смотрим, как Дуся закуривает, — отвечает одна.

— Чем ласы точить, взяли бы да помогли!

— Я сама, сама! — возмущённо кричит Дуся. — Не надо мне помогать!

Клим присаживается рядом с ней, вытаскивает из кармана мятую папиросу и спички, чиркает спичкой и галантно подносит Дусе зажжённую спичку; однако та резко отталкивает его вместе с зажжённой спичкой и продолжает свои бесплодные попытки. Клим закуривает, пускает перед собой длинную струю дыма, затем скашивает глаза и, не в силах выдержать, начинает давать ей советы «под руку».

— Да иди ты! Сама сорок лет знаю, как спички зажигают! — сердито отмахивается от него Дуся.

— Ну, сама так сама, — обиженно замолкает Клим и демонстративно отодвигается от неё, продолжая всё же молча за ней наблюдать.

Прошло, наверное, ещё минут двадцать терпеливых мучений, пока наконец Дуся не зажгла спичку и не прикурила. Она обрадовалась этому необыкновенно: всплёскивая культиями, в одной из которых держит вынутую изо рта дымящуюся папиросу, она улыбается и восклицает:

— Получилось! Получилось! Я сама! Сама!

— Получилось, получилось, — кивая, удовлетворённо и с облегчением вторят ей женщины, потому что они уже измучились, глядя, как мучается она.

— Ну, молодец, Дуся, — тоже удовлетворённо произнёс Клим, придвинулся к ней и ласково похлопал её по спине. — Научилась спички зажигать — и всё у тебя теперь получится!

Они сидят рядом и дружно пускают обильный дым в два рта; Дуся, изголодавшись по курению, пока с таким трудом зажигала спичку, жадно затягивается, набирает полную грудь дыма и, прежде чем выпустить его, замирает на мгновение, подняв лицо и жмурясь от яркого солнца. Видно, что ей так хорошо, так блаженно чувствовать себя, сидя среди своих и наслаждаясь табачным дымом и теплом апрельского солнца.

## СЕЛЬСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ КЛИМ

За речкой, бегущей вдоль Таловки, стоит крутобокая сопка; с южной стороны эту сопку огибают заросшее осокой, кустами и чахлыми берёзками болото, посередине которого петляет ручей, впадающий в речку.

Болото это питается водой, которая круглый год сочится из подножия сопки, поэтому оно даже самым жарким летом не высыхает. Зимой эта подошва сопки, откуда сочится вода, долго не замерзает,

и над ней курится лёгкое облачко. Потом это место накрывает толстый слой снега, а под снегом остаются пустоты, в которые можно провалиться и вымокнуть по колени. Весной это место быстрее всего освобождается от снега, и раньше, чем везде, в этом месте болота начинает зеленеть молодая осока.

Да и сам южный склон сопки, поросший реденьким сосняком, тоже раньше всех прочих мест освобождается от снега и начинает зеленеть, так что вёснами здесь обычно толкутся деревенские коровы: подкармливаются юной зеленью, греются под тёплым вешним солнцем и чешутся о шершавые сосновые стволы, освобождая бока от зимней шерсти. А летом здесь раньше, чем где-либо, появляются грибы — надо только успеть с утра пораньше, иначе тебя опередят другие, а что не соберут ранние грибники — непременно съедят коровы, тоже большие любительницы грибов.

Надо сказать, что таловское стадо уже много лет обходилось без пастуха: коровы сами по себе паслись на обширной приречной луговине прямо за нашим огородом, сами шатались по тайге, заходя иногда аж за десяток километров от деревни, и сами возвращались вечером домой. Иногда какая-нибудь корова блуждала по тайге два-три дня и всё равно возвращалась. За двадцать лет было, кажется, всего два — или даже один? — случая, когда корова пропала бесследно: то ли волки съели, то ли воры увели. Поэтому таловские больше следили за тем, чтобы коровы шли в лес, а не на железную дорогу — подбирать выброшенные из вагонов объедки и арбузные корки: под колёсами поездов наши коровы гибли чаще...

Вот и в то лето, как только началась жара, я отправился за первыми грибами именно туда, на южный склон сопки. Пришёл и остановился в недоумении: со стороны болота тянуло чудовищной вонью от мертвечины.

Надо было, конечно, немедленно уходить — но меня разобрали одновременно и любопытство, и тревога: что же там такое может гнить? Судя по силе запаха, гнило что-то огромное.

Преодолевая отвращение, я, найдя крепкую палку, пошёл навстречу запаху: спустился по склону до самого низа и, прыгая по кочкам, уже успевшим зарости осокой чуть не по пояс, стал медленно продвигаться вперёд. Иногда ноги мои, обутые в сапоги, соскальзывали и чавкали в грязи между кочек. Но почти затвердевшая грязь была теперь неопасной.

Я продвинулся таким образом метров на пять и вдруг прямо перед собой увидел в осоке мёртвую ярко-рыжую корову; ноги её полностью увязли в болоте, поэтому она лежала брюхом на кочках, на кочки же положив вытянутую далеко вперёд безглазую голову с огромными лирообразными рогами. Вид её был ужасен: шерсть сохранилась лишь на морде да в виде узкой полосы вдоль хребта; по бокам белели оголённые рёбра, за ними, внутри остова, чернели

превратившиеся в грязь внутренности, а снаружи, там, где слезла шкура и сохранилась сизая, склизкая мышечная масса,— кишки белые черви, мухи и чёрные жуки.

Долго любоваться зрелищем не было никакой мочи — чуть ли не бегом, прыгая по кочкам, выбрался я из болота и взошёл на пригорок, подальше от вони, страшно возмущаясь при этом всею Таловкой: ну что за бездельники — почему не вытащили корову? Не впервой же они вязнут тут, и вытащить её — пара пустяков: несколько мужиков продёргивают под коровьей грудью толстую верёвку, увязывают в узел и двумя лошадьми легко выволакивают корову на сухое место, тем более что она изо всех сил пытается сама себе помочь...

Искать грибы расхотелось совершенно — вонюю тянуло за целый километр; я повернулся и пошёл домой; надо, думаю, хотя бы поскорей найти хозяев да сообщить, что нашёл утонувшую корову; знаю ведь, что в деревне она — не просто главная кормилица, а ещё и почти член семьи, так что потерять её — горе страшное; хозяева, поди, до сих пор ищут её по тайге?.. Только чья же она? И ведь я её видел раньше, обращал на неё внимание, когда стадо паслось на луговине за огородом,— очень уж приметная была крупной статью, рыжей мастью, лирообразными рогами...

Прихожу домой и с возмущением рассказываю матушке: представляешь, нашёл в болоте утонувшую корову! Почему не вытащили? Почему никто не спохватился?.. И тут она охлаживает меня:

— Да почему ж не спохватились-то? Она так ревела там двое суток подряд, днём и ночью, так звала на помощь — что слышно было из-за горы чуть не во всей деревне, так что деревня спать не могла ночами!..

Оказывается, случилось это в начале мая, в те бесконечные тогда майские пьяные праздники. Меня в те дни не было здесь — держали в городе дела, вот почему я ничего не слышал об этой несчастной корове; а когда приехал дней через десять — сразу началась огородная страда, и за хлопотами матушка забыла рассказать мне о ней — или, может, просто не хотела ворошить в себе эту неприятную историю?

Дело в том, что корова эта принадлежала Климу, который, сколько помнится, всё тёрся возле магазина, исполняя там одновременно роль грузчика, сторожа и истопника, причём три четверти рабочего времени обычно слонялся без дела или, сидя на завалинке, курил и болтал с бабами. Чтобы заставить его что-нибудь сделать, продавщица должна была непременно ругаться с ним, и когда её терпение лопалось, она с треском выгоняла его с работы. Но на его мизерную зарплату найти было больше некого, так что измученная продавщица снова принимала его на работу, и исполнял он её по-прежнему через пень-колоду. Причём его самого эта работа вполне устраивала — тем ещё, что, кроме безделья, он имел возможность быть на ней вечно полупьяным, так что деревенские мужики даже завидовали ему: «Во жись — каждый день подшофе!..» Хотя, если честно, пьяным

в стельку я его ни разу не видел: у него, видимо, была своя норма, ниже которой он не опускался.

Жил он в казённом домишке при магазине и был женат. Но жена его, *Валюха*, безнадежно махнув, видимо, на него рукой как на серьёзный источник заработка, работала посуточно в городе, на мясокомбинате, через сутки приезжала на два дня домой и снова потом уезжала на сутки. Причём, приезжая, привозила с мясокомбината что-нибудь съестное: мясные кости, ливер, дешёвую колбасу — их там продавали своим рабочим со скидкой. Клим к её возвращению запасался в магазине спиртным в счёт будущей зарплаты, и в течение двух дней у них шла сытная, весёлая жизнь.

Правда, иногда Валюха оставалась на два свободных дня в городе — у родственников или ещё где-то. Что делал все эти пять дней без неё Клим, неизвестно — его не было видно: то ли переживал, скучая, то ли просто спал.

Имели они и сына, но из-за родительской бытовой, так сказать, неустроенности сын их обитал всё время у деда с бабкой, Климовых родителей.

С самим Климом родители его *зубатились*, потому как навещал их Клим всего два-три раза в год, по праздникам, хотя жил через три дома от них, и приходил, как они считали, только затем, чтобы поест и выпить на халяву — и ни разу, чтобы помочь старикам косить сено, копать картошку, привезти дров. А с другой-то стороны, они и сами не шибко привечали его — чтобы оградить внука от влияния непутёвого папаша...

У Климовых родителей, Марьи и Леонида, я часто брал молоко — больно уж хорошее оно у них было: густое, вкусное, чистое, — и когда, бывало, придёшь к ним — обязательно перекинешься лишним словечком, тем более что были они оба люди словоохотливые и простодушные, и дом у них был просторный и опрятный, а двор полон живности; Леонид, ко всему прочему, ещё любил художничать, и на всех оконных ставнях у него весьма искусно намалёваны были разноцветными красками глухари, тетерева, соболи, белки, а на высоких тесовых воротах красовался огромный лось... И когда у меня с Марьей как-то зашёл разговор об их сыне — она, явно стыдясь за него, стала рассказывать мне, как в детстве на него *навела порчу* цыганка: зашла будто бы к ним во двор, выпрашивая что-то, а Марья возьми да прогони её — и цыганка пригрозила ей: «Вот попомни мои слова — не будет тебе счастья!..» Но никогда она не поминала ещё об одной детали в прошлой Климовой жизни.

Уже потом, от людей, хорошо помнивших о былой Таловке, узнал я, допытываясь: были ли у Клима в жизни какие закавыки, о которые он спотыкался? — что-то мне подсказывало, что были, и — пребольшие! И точно: оказывается, во времена его юности крепко озоровала тут целая команда деревенских юнцов, и нескольких из них, в том

числе и Клина, судили однажды за какую-то большую провинность. Отсидел он года полтора, не больше. А потом, сразу по выходе, в армию угодил, и уж после армии пришёл таким, какой есть. Всех его бывших дружков пораскидало, да так, что и вестей не слышно, а он вот прикипел к родной сторонке...

А во времена, о которых речь, Клим вместе со своей Валюхой, живя в служебном домишке при магазине, даже содержали огород, который располагался тут же, за магазином, и держали упомянутую выше рыжую корову. Но в огороде том ничего, кроме картошки и осота, не росло, а корова, которую зимой держали в дырявом сарае, пристроенном к домишке, вечно ревела от голода, потому как сена, которое накашивал летом Клим, на зиму не хватало; не хватало и буханок хлеба, которыми он подкармливал её, частью выкупая в магазине в счёт будущей зарплаты, а частью просто-напросто там же приворовывая... Другой их проблемой была дойка коровы. Поскольку Валюха работала сутками, а сам Клим не хотел заниматься дойкой — как занятием *бабьим*, а если и занимался под давлением Валюхи, то делал это кое-как, а то и вовсе забывал, окутанный винными парами, — корова молока давала мало, и было оно невкусное, с сильным коровьим запахом, поскольку, как говорят в деревне, *перестаивало* невыдоенным...

И вот в те майские пьяные праздники, когда Климова корова увязла в болоте и принялась трубно реветь, да так, что взбудоражила всю Таловку, к полупьяному Климу явилась делегация из нескольких женщин и стала укорять его:

— Чего лежишь? У тебя корова тонет! Иди собирай мужиков с лошадьми!

— Да на х.. она мне сдалась! Всё равно молока мало даёт!

— Так доить надо вовремя!

— Да надоела она мне!..

— Ну так вытащи, зарежь и продай мясо, купи новую корову!

— Да-а, и так проживу!

— Но ведь живое же существо — ты послушай, как она ревет!

— Не хочу я слушать: тонет — и пусть утонет! Поревёт — и перестанет.

— Вот Валюха придет — она тебе устроит весёлую жизнь!

— А чо Валюха? Не ей, а мне за коровой ходить! — упорно отбивался Клим.

Неугомонные женщины, не желая сдаваться, стали тогда просить у него разрешения самим пойти договориться с мужиками, чтоб вытащили корову.

— Не смей! — начал куражиться над ними Клим. — Моя корова: что хочу, то и делаю с ней, — не ваше это собачье дело!

Женщины ушли ни с чем... Часа через три, не в силах слушать отчаянный рёв тонущей коровы, пришла новая женская делегация — над ней Клим куражился ещё противней, и она тоже ушла ни с чем.

Вечером к нему пришла новая делегация; он закрылся от неё в своей избёнке на крючок.

Они стучали в двери и окна так настойчиво, что он не вытерпел: выскочил с железной кочергой в руке и, махая ею, заорал на женщин:

— Надоели вы мне, свиристёлки, — спать не даёте! Ещё кто хоть раз стукнет — голову расшибу!

— Климушка! — причитали женщины, на этот раз стараясь взять его лаской. — Тебе и делать-то ничего не надо; ты только разреши — сами мужиков позовём, сами вытащим!

— Я же сказал: не смей! А кто пойдёт — этой вот кочергой ноги переломаю!..

И опять делегация ушла ни с чем...

В ту ночь деревня не спала, и пьянка не шла на ум — все выходили на улицу, слушали: ревёт ли? Может, надеялись на чудо: сама вылезет?.. Соседки, стоя на крыльцах, переговаривались в темноте между собой, проклинали Клим... К обеду второго дня крик стал слабеть и к вечеру утих совсем.

Опять к нему пришла женская делегация, опять начала укорять: — Всё, можешь радоваться: издохла твоя корова! Так ты хоть дохлую-то вытащи да сними шкуру: тоже ведь денег стоит! И *пропастину* можно в город увезти — там, говорят, её на корм собакам берут...

— Ну навязались на мою голову! — снова орал на них Клим. — Сказал: не буду ничего делать, — и не буду! Не мне — так и никому!..

Вот таким стойким оказался наш таловский *пролетарий* Клим.

Много с тех пор воды утекло. Уже и моей матушки, и большинства женщин, что хлопотали о той несчастной корове, нет на свете — а с Климом ничего не делается: и земля не разверзлась под ним, и молнии не берут, — живёт себе по-прежнему в избёнке, больше похожей на баню по-чёрному — с прокопчёнными внутри стенами и потолком и со слепыми, мутными, никогда не мытыми окнами. Всё так же зарастает буйным осотом его огород, с которого он собирает столько картошки, что её едва-едва хватает до весны, а уж на семена он выпрашивает картофельную мелочь по соседям. Всё так же он работает, и живёт вполпьяна, и ест мясные обрезки, которые привозит ему с мясокомбината его Валюха, и, кажется, вполне доволен своей жизнью.

В общем, как сказал бы мудрствующий горожанин, протестующий против городской «скверны» и ищущий идеалов в единении сельского человека с природой и с самим собой, наш Клим и в самом деле живёт в полной гармонии со своим естеством и своей судьбой, и ничего ему ни от кого не надо — кроме разве небольшого количества водки и мясных обрезков, которые бы ему время от времени привозила его верная Валюха.



## «УБИВЕЦ»

Давненко это было. Тогда ближайшими нашими соседями в Таловке была семейная пара с одинаковыми именами: Фёдор и Федора. О них и речь.

Фёдор, или, по деревенскому обычаю, просто Федя, работал на железной дороге и был, что называется, «рабочий аристократ»: специалист по автоматике, причём — самой высокой квалификации, поэтому и получал хорошо — лучше всех в Таловке, и на работе его ценили, а когда вышел на пенсию — ещё много лет не отпускали с работы.

При этом, несмотря на пенсионный возраст и на абсолютно белоснежную седину своего ёжика, выглядел он очень привлекательно: сухощав, подтянут, аккуратно одет, кожа на лице и руках — ровного, никогда не сходящего оливково-смуглого загара, какой бывает у людей, которые всю жизнь провели на открытом воздухе, под солнцем, дождём и ветром; и на смуглом его лице — небесно-синие, удивительно молодые глаза. Да при этом ещё и приветлив. Не болтлив, а именно приветлив: всегда охотно откликнется и поддержит разговор, но — только если чувствует, что его хотят слушать.

И дома он был исправный хозяин: держал всегда огромный огород, пчёл, корову, лошадь, годовалого бычка на мясо... Кстати, у железнодорожников, живущих — как в Таловке — в окружении дикой тайги, была одна большая привилегия, которой в советское время, кажется, не имел больше никто из сельских: им разрешалось держать в домашнем хозяйстве лошадь, и на количество коров и прочей домашней живности не было ограничений, причём — даже в войну, когда остальное население страны страшно голодало. И лошадь эта всегда была огромным подспорьем: на ней пахали огород, косили сено, возили из леса дрова; верхом на ней ездили в тайгу охотиться, заготавливать черемшу, грибы и ягоды...

Имел Фёдор просторный дом-пятистенок, просторные сараи с сеновалами, добротный омшаник для пчёл с терморегулируемым электроподогревом, и имел полный набор сельхозорудий для конной тяги: плуг, борону, сани, телегу, причём телегу — на резиновом ходу да с подшипниками; имел специальный тележный передок для вывозки волоком из леса брёвен и жердей...

А какой мастер был на все руки! Когда там же, в Таловке, умер мой отец — Фёдор пришёл первым и добровольно предложил свои услуги: изготовить гроб и крест, — и когда я сунулся было помочь ему — вежливо отстранил меня: «Тебе заниматься этим не положено», — а когда я предложил ему для работы наш плотницкий инструмент — он осмотрел его, решительно забраковал и принёс свой, прекрасно правленный и остро наточенный, так что мне осталось только одно: изыскать для него материалы. А когда пришли и предложили свою помощь остальные соседские мужики — он держал их

лишь на подхвате: поднести, отпилить, построгать, — а всю главную работу сделал сам — да ещё как: гроб был настоящим произведением искусства — хоть на выставку! — а массивный, с двумя поперечинами листовничный крест собран им был без единого гвоздя, да так прочно, что и теперь, тридцать лет спустя, ни одна часть его не пошатнётся — стоит как литой, так что когда я бываю на кладбище, то, помяная отца, заодно каждый раз вспоминаю с великой благодарностью и Федю с его золотыми руками.

Так что, казалось бы, всё ему дала судьба для полного деревенского счастья или хотя бы благополучия... Но нет, была у Фёдора закавыка, и закавыка серьёзная, перечёркивавшая начисто все остальные приметы благополучия, — алкоголизм его жены Федоры. Надо сказать, что Фёдор нёс эту беду с терпеливым достоинством. Правда, срывался изредка, колачивал её; чаще же всего просто присматривал за ней в оба, чтобы не сбежала из дома, когда её «заусило», к таким же, как сама, товаркам и не ушла, как говорится, «в штопор». А если всё-таки уходила — искал её по деревне, уводил — а иногда и уносил на руках — домой, сам готовил тогда еду, кормил и поил животных, доил корову...

Зимой, когда он не был слишком загружен работой, это ему хорошо удавалось. Хуже было летом, когда на железной дороге сплошные авралы и рабочие заняты весь световой день, с раннего утра до позднего вечера; тогда ему приходилось бывать дома урывками; тут-то Федора и давала себе волю.

Она тоже была уже пенсионеркой и тоже всю жизнь проработала на железной дороге, только в бригаде путейщиков. А надо сказать, что почти все женщины-путейщицы подвержены этому недугу — правда, в разной степени, так что когда её товарки, бывшие путейщицы, а теперь пенсионерки, оставшиеся по-прежнему могучими женщинами, получивши очередную пенсию, начинали «гулять»: накупали в магазине водки и шли на «посиделки» сначала к одной товарке, потом к другой, а в перерывах между «посиделками» ходили гурьбой по деревне и орали песни, — организму худенькой, костлявой, измождённой алкоголизмом Федоры было, видимо, очень мало нужно, чтобы опьянеть, — она просто-напросто валилась где-нибудь в траву и, забытая подругами, засыпала.

Но, прежде чем напиться, она, зная, что Федя всё равно отнимет у неё пенсию, да ещё накажет продавщице в магазине не давать ей водки в долг, — успевала купить и спрятать несколько бутылок. Причём, торопясь к подружкам, прятала она их очень просто: бросала в разных местах в высокую густую траву их палисадника, а потом выискивала по одной и целую неделю похмелялась. Федя устраивал ей трёпку, искал, где она прячет «заначку», а найти не мог.

Одно из наших боковых окон, кухонное, выходило прямо на этот палисадник, так что отец, пока был жив, любил, сидя перед этим

окном за завтраком или за обедом, наблюдать, как Федора ищет очередную бутылку.

Дело в том, что палисадник был длинный — огибал дом с двух сторон — и неухоженный, заросший высоченной травой, а сама она, второпях побросав туда бутылки, забывала точно их местонахождение и, бывало, подолгу искала каждую: сначала медленно бродила по траве, потом ползала в ней на четвереньках, а когда наконец находила — так радовалась находке, что просто ликовала и даже запевала что-нибудь весёленькое. Потом отпивала сколько-то прямо из горлышка, затыкала бутылку и перепрятывала её, а потом опять забывала место.

Отец мой, грешным делом, тоже любил приложиться к бутылке, поэтому процесс Федориных поисков был для него прямо-таки захватывающим театральным действием: он с азартом следил за ней и переживал, когда она никак не могла найти пропажи: «Вот, сейчас, сейчас... Нет, опять мимо!..» — потому что он-то, будучи трезвым, прекрасно помнил, куда она бросала бутылки, и радовался за неё, когда пропажа наконец находилась. Причём, к его чести, он так и не заложил её ни разу, не выдал Феде маленькой Федориной тайны.

Когда же Федя, теряя терпение, колачивал Федору — а надо сказать, что делал он это скорее для виду (иначе бы в деревне его просто презирали бы: эк распустил жену!), — Федора истошно визжала, причём, как мне казалось, тоже больше для виду, при этом с завидным постоянством повторяя одно и то же: «Убивец! Убивец! Ну убей, убей меня!..» — а я, слушая её противный визг, думал с раздражением: «Вот глупая баба: все мозги уже пропила — ничего новенького придумать неспособна!..» — а само её любимое словечко «убивец» принимал за преувеличение, своеобразную метафору... И всё же в назойливости повторения Федорой этого слова была, как мне казалось, какая-то подоплёка, недоступная моему пониманию.

Потом, когда Федю на железной дороге окончательно отпустили на пенсию, он, уставши от своего большого домашнего хозяйства, распродал всё и уехал вместе со своей Федорой в город, поближе к дочерям, и все смешные и грустные детали быта наших соседей потихоньку забылись...

Прошло, наверное, года три, как они уехали. Однажды летним вечером на лавочке, вкопанной в нашем огороде прямо под окнами веранды, моя мама сидела с двумя деревенскими подружками, которые иногда навещали её и посвящали в деревенские новости (сама она была упрямой домоседкой — ходить по гостям не любила), и когда я проходил мимо них — сказала мне:  
— Слыхал? Федора умерла.

Я остановился, присел рядом с женщинами и стал расспрашивать: отчего она умерла? Соседки толком не знали. Хотя, в принципе-то, с ней и так всё было понятно. И я произнёс первое, что пришло в голову, когда вспомнил Федору:

— Так ведь попей столько... И Федя не мог её окоротить: чуть приложится — она уже кричит благим матом: «Убивец! Убивец!»

И тут одна из соседок сказала:

— А он и есть убивец.

— Как так? — не понял я.

— Да вот так...

Меня это утверждение заинтересовало; я стал настаивать, чтобы заявительница объяснилась, и она начала рассказывать одну связанную с Федей историю, а заодно — и историю самой Таловки, в то время как вторая соседка время от времени дополняла её рассказ деталями. Долго, до глубокой ночи, они, окунувшись с головой в воспоминания, то есть в собственную юность и молодость, рассказывали нам, «приезжим», о прошлой Таловке. Рассказ этот, по причине его громоздкости, я вынужден кратко пересказать своими словами. Вот он...

В 1932 году здесь был создан лесоучасток огромного Сиблага. В 1948 году, когда сосновые боры вокруг Таловки были сведены на нет и тайга стала зарастать осинником, лесоучасток перевели дальше, на восток; но во время войны лесоучасток работал на полную мощность. Лес в тайге валили вручную, топорами и двуручными пилами, а вывозили лошадьми по узкоколейкам — весь лес был опутан узкоколейками, как тенётами. В самой же Таловке стояло несколько пилорам: пилили шпалы, смолили, грузили в вагоны и сразу увозили, — и пилили, и грузили день и ночь напролёт, без перерыва: всё — на фронт... Обслуживали лесоучасток примерно триста заключённых, «политических» и «бытовиков», да человек сорок охранников, да несколько начальников и специалистов-«вольняшек», и всё на лесоучастке было своё: конюшня, кузница, медпункт, баня, прачечная, пекарня, сапожник, парикмахер, портной, — причём не только сами себя и охрану обслуживали, а ещё и почти вся деревня возле них как-то жила и кормилась. Деревня тогда была намного больше, имела школу-семилетку, и детей в ней учили очень даже знаменитые профессора-заключённые... Днём они все — и лесорубы, и служба — работали бесконвойными, а вечерами их пересчитывали и заводили в бараки.

Раз в год заключённым полагались свидания с жёнами; жёнам разрешалось также привезти и передать своим мужьям кое-какую одежду и продукты — подкормить страдальцев. Но от Центральной России досюда казалось тогда страшно далеко — как до другого материка; да ещё от многих «политических» родственники отказывались; да и время военное было, дороговизна, поезда ходили редко, битком набитые, билеты достать трудно. Причём поезда в Таловке не оставались — был лишь тупик, куда загоняли вагоны под погрузку; до станции же что в одну, что в другую сторону — четырнадцать километров, а потому женщины приезжали к своим заключённым

в Таловку редко, от силы одна-две за зиму. Причём женщине этой надо было ещё у кого-то остановиться на два-три дня и в магазин зайти, так что таловские, отвыкшие за войну от чужих лиц, бывало, рассмотрят и обсудят приезжую до ногтей.

У Фёдора, как у железнодорожника, бронь была — освобождение от фронта. Были они с Федорой тогда молодыми; две дочечки у них маленькие. Дом их — в самом центре Таловки, возле магазина, на виду: красивый, ухоженный, что в те времена было редкостью — не до того людям было, — и приезжие женщины чаще всего у них и останавливались. За плату, разумеется.

И вот однажды появилась в Таловке очень заметная — прямо-таки сказочно заметная — женщина. Сейчас-то любая наряженная дурёха ей фору даст, а тогда не то что в Таловке — в городе такую сыскать трудно было: белокурая, завитая; и пахнет-то от неё не какой-нибудь «сиренью» или «фиалкой» по десять рублей флакон в любой деревенской лавке — а умопомрачительными духами, явно заморскими, каких ещё ни один таловский не сподобился в своей жизни нюхать. Белый пуховый платок на ней, беличья красивая шубка, на ногах — белые фетровые сапожки с каблучками: такие тогда в большой моде были и стоили дорого, так что мало кто их носил. Деревенские откровенно на неё пялились и всё-то всё на ней рассмотрели: и колечко-то на пальце золотое, с красным камешком, и серёжки в ушах — тоже никак золотые! — и тоже с красными камешками, и сумочку фасонистую в руках; и голову-то она держит прямо, с вызовом, шагая по нашим сибирским сугробам да по конским катышам... Это она к одному из таловских школьных профессоров приезжала. Одни фыркали презрительно: «Ишь, вырядилась, фря такая! В телогрейку бы её да в кирзачи — посмотрели бы, как она вышагивать тут будет!» Другие защищали: «Правильно, что вырядилась, — она для мужа старалась: какой ни есть, а праздник ему устроила...» Правда, первых было раз в десять больше, чем вторых.

Пробыла она, как полагается, три дня, а потом Федя запряг лошадь и отвёз её на станцию. И потихоньку о ней забыли.

Месяца через три — уже весна была, почти весь снег растаял, — приезжает в Таловку районный следователь, заходит к Феде в дом и начинает допрос: такая-то и такая-то женщина зимой была в Таловке и останавливалась у вас, — и называет все приметы той зимней таловской гостыи; оказывается, это какая-то артистка известная. И вот эта женщина, говорит следователь, домой не вернулась. Оттуда прислали запрос сюда, и следователь этот уже выяснил, что последним, кто видел её здесь, был именно он, Фёдор.

Федя спокойно и рассудительно отвечает: да, жила она у них, помнит её прекрасно, да, отвёз на станцию, ссадил с саней возле вокзала, а поскольку уже стемнело и надо было ворочаться домой — быстро повернул лошадь и погнал обратно...

«Но на вокзале в тот вечер её никто не видел,— продолжает допрос следователь,— и никто не помнит, чтобы в тот вечер она покупала билет...»

«Так ведь на станции вечно толкуются люди,— опять рассудительно отвечает Федя,— и билет там сразу никогда не купить — поедем хоть сейчас и проверим...»

«А видел ли вас на станции кто-нибудь из знакомых, чтобы подтвердил, что вы довезли гостью до вокзала?» — спрашивает следователь. «Верно,— отвечает Федя,— кто-то попадался навстречу; только ведь темно было — никого не узнал...»

Короче, Федю увезли в район. А следователь тем временем взял несколько солдат из местной охраны, прошёл с ними пешком и старательно осмотрел все четырнадцать километров таёжной дороги до станции. Ничего не нашёл. А Федю месяца два ещё помурыжили и отпустили за отсутствием улик.

И они с Федорой продолжали жить-поживать да деток растить.

Прошло лет двадцать. Дочки выросли, уехали в город, чему-то там выучились, работать пошли... И вот одна из таловских женщин встречает однажды в городе их дочку, а на ней — красивая беличья шубка. Тогда — из интереса — отыскали там и вторую дочку, а на ней — и колечко с красным камешком, и жёлтенькие серёжки с красными крапинками. Вот так-то!

— И никто после этого ничего не подсказал следователям? — спросил я.  
— Через двадцать-то лет? — усмехнулась главная рассказчица.

Я хотел было пояснить, что пусть поздно, но справедливость должна бы всё-таки восторжествовать, да сдержался. А рассказчица вместо прямого ответа на мой вопрос сочла нужным добавить в своём рассказе некоторые детали таловской жизни, которые нам с матушкой тоже были неизвестны.

С той поры, как следователь посетил Таловку, все таловские перестали бывать дома у Фёдора с Федорой. Разговаривать с ними — разговаривали, ровно ничего не произошло и будто бы никто ничего не знает. Но дом их обходили стороной. Никто ничего у них не спрашивал, не поминал никогда о той женщине — а барьер невидимый между Федей и остальной деревней появился.

Федя — ничего, крепился. А Федора не выдерживала: бросалась из дома — как в прорубь — в загулы с подружками. Да с каждым годом всё шибче. «И поминала слово „убивец“, — мог бы добавить я, — с каждым годом всё громче».

И ещё мог бы добавить я с неожиданно возникшим удивлением, что ведь и мы с матушкой здоровались с ними обоими, Фёдором и Федорой, по-соседски приветливо, вели какие-то разговоры, а ведь тоже так ни разу и не побывали у них дома — будто чувствовали какое-то заклятие над их домом!..

После рассказа женщин наступила долгая пауза. Казалось бы, к их рассказу добавить было нечего. Но во время паузы у меня возникло несколько вопросов, и я, неловко нарушая паузу, всё же задал их.

— Но вы же выросли все вместе, здесь? Значит, и его тоже учили в школе профессора?

— Да учили-то профессора, а воспитывала Сибирь-матушка, — тотчас ответила женщина, которая вела главную роль в устном рассказе. — Проведи-ка детство посреди зоны да посмотри на всё это...

— Но ведь, как я понял, тут была тихая зона?

— Всякое бывало... Ты эвон, — кивнула она на сопку за речкой как раз напротив нашего дома, — знаю, любишь грибы на ней собирать? Они там, говорят, шибко урожайные; городские их любят. А мы, деревенские, их там не берём.

— Почему? — невольно спросил я, удивившись скорее неожиданному повороту разговора, чем самому вопросу.

— А ты видал там, среди сосёнок, — всё ямы, ямы?

— Видал, конечно, — ответил я; действительно, вся наша сопка, особенно её южная сторона, была в этих старых, едва приметных, заросших травой и кустарником ям посреди рослых сосен; там действительно росли хорошие грибы; я объяснял этот феномен тем, что южная сторона хорошо прогревается солнцем.

— Так вот, все эти ямы — могилы. У нас-то своё кладбище, а у них — своё было, здесь. Тут копать легче: сухая земля, песок, и весной быстрее оттаивает...

Теперь, когда эта история с Федей и Федорой, вместе с послесловием, была наконец рассказана до самого конца, — наступила ночь. Настоящая летняя ночь — не тёмная и не белая, а серо-лиловая, когда на севере тлеет и тлеет до утра бледно-жёлтая заря. Медленно, но неотвратно холодало, но никто из нас — ни мы с мамой, ни обе соседки — не поднимался со скамейки... Внизу, в речных зарослях за огородами, вскрикивали и даже пытались петь какие-то ночные птицы; далеко за домами, на железнодорожной линии, приглушённо погромыхивал проходящий поезд — а здесь, в огороде, да и во всей Таловке, стояла мёртвая тишина. Даже собаки не лаяли. И как-то не верилось, что в такой вот почти патриархальной тихой деревне могли когда-то происходить тяжкие, мрачные события: люди гробили людей на каторжной работе, убивали, мучили друг друга и сами мучились. Да ведь, наверное, и сейчас, в эту самую ночь, кто-то кого-то тайно гробит и мучает; и это всё равно ведь выплывет когда-нибудь, пусть через пять, десять, через двадцать лет, — и какая-то тайная неотвратимость наказаний за всё на свете в мире всё же существует. Несмотря ни на что... Эта не договорённая нами мысль, мне кажется, незримо витала над нами, всеми четырьмя, когда мы вспоминали про несчастную Федору той ночью, сидя в рядок на нашей скамеечке и долго не расходясь по домам, —



эта недоговорённая, невысказанная мысль тесно объединила нас тогда в одно целое.

## ДИСПУТ

За железной дорогой, где раньше были деревенские покосы, и за покосами тоже, где на старых вырубках были многокилометровые малинники,— там везде теперь дачные участки горожан. Сколько их, я не знаю: с тех пор как они появились, я туда уже не хаживал — незачем, да и скучно ходить по лабиринтам среди заборов и смотреть на бесконечные унылые ряды дачных «скворечников».

А на гравийной перронной площадке перед небольшим нашим вокзальчиком деревенские бабы, главным образом старухи, приспособились продавать дачникам молоко, сметану и творог. Всё у них заранее расфасовано: молоко — в трёхлитровых стеклянных банках, сметана — в литровых, творог — в полиэтиленовых пакетах. Но жалко выглядит этот базарчик: прилавка нет, товар разложен и расставлен на шатких круглых чурбаках из поленницы, принадлежащей вокзалу; на таких же чурбаках сидят и сами торговки. Приходят они сюда раным-рано, к первой электричке, и сидят в жару и в холод, что называется, «до упора» — пока не сбудут товар.

Утро сегодня дождливое, дачников мало; старухи сидят под накидками из прозрачной плёнки, скучают и молчат, но терпеливо ждут электричек.

Одна из торговок, Калмычиха, припозднилась: пришла со своими тремя банками молока и бесконечными пакетами с творогом — а чурбаков свободных нет.

— А ну сознавайтесь: кто мои взял? — пошла она придиричиво осматривать уже разобранные чурбаки.

Один вроде бы признала, но ей его не отдали.

Дело в том, что когда торговки уходят, какие-то пакостники постоянно скатывают чурбаки с перрона под откос, в канаву, и старухи каждый раз снова и снова вкатывают их на перрон, путая при этом свои с чужими.

Калмычихе пришлось тащить из поленницы «новые», а поскольку более ровные уже разобраны, ей достались кривые, шаткие, и чтобы они стояли, ей пришлось подкладывать под них ещё и камешки.

Наконец она устроилась, потеснив остальных, в самой центральной части перрона, «возле столба», её будто бы «законного» места.

Своей неуёмностью она восстановила против себя остальных, и они теперь раздражённо ворчат, адресуясь к ней. Калмычиха спокойно отбрёхивается, а поскольку обе стороны зубасты — обмен любезностями не прекращается.

Надо сказать, что Калмычиха — хоть и пенсионерка, но женщина ещё крепкая, даже могучая и оборотистая: если остальные торговки, главным образом скрученные болезнями худосочные старухи,

додерживают коровёнок, тоже уже старых, из последних сил — она держит сразу трёх коров, да ещё огулявшуюся тёлку, по выходным продаёт молоко здесь, а в будни возит в город. Кроме того, большую часть огорода, которые в деревне испокон века занимали картошкой и огородной мелочью, она занимает теперь чесноком и клубникой, то есть ходовым в городе товаром, и тоже вовсю ими приторговывает.

Удивительно, между прочим, как стойко держится в глубинной деревне древний пережиток общинного равенства: стоит кому-то из «своих» начать зарабатывать больше других — тут же осудят: ха-пуга!.. Вот и сейчас, пользуясь моментом, женщины высказывают Калмычихе всё, что о ней думают:

— В город езжай! Больше всех надо, да?.. Были бы коммунисты, хвост-то бы тебе прищемили!.. Распустили вас, всё теперь можно!..

— Нашли кого хвалить — коммунистов! — огрызнулась быстрая на слово Калмычиха. — Мало от них натерпелась!

— Да были бы коммунисты, мы бы не сидели тут, нам бы и пенсии хватило! — возразила ей одна из старух.

— А забыли, как в очередях стояли за спичками да за колбасой? — тотчас резко бросила ей Калмычиха.

О, как тут старухи накинулись на неё — будто развороченный пчелиный рой.

— Да на что нам эта колбаса? И тогда не видели — и сейчас не видим! — кричит одна.

— В городе моя дочь четыре месяца зарплату не получала — вот и купи эту колбасу! — вторит ей другая.

— Вон чо твои дерьмократы вытворяют — Чечню эту придумали! — кричит третья.

Тут вышел старик Сутырин, высокий, худой и какой-то весь серый. До этого он терпеливо посиживал возле своей старухи, дожидаясь, пока она не продаст молоко и творог, чтобы вытянуть из неё сколько-нибудь на бутылку «красненькой»; подошёл, встал напротив Калмычихи и, махая длинными руками, начал хрипло и надсадно, так что кадык на его жилистой шее ходил как поршень, кричать ей в лицо:

— Вот я, да? При коммунистах получал девяносто рублей пенсии и каждый день пьяный был! Они сами воровали и нам давали, а щас вот попробуй попей на пенсию! Это как, по-твоему, а?..

Тут, качнувшись на нетвёрдых ногах, он задел её банки; банки эти вместе с чурбаками опрокинулись; две банки вообще разбились вдребезги, из третьей, целой, вылилось молоко.

Рассвирепевшая Калмычиха вскочила и с воплями возмущения: — Пьяница! Алкаш! Сволочь! Бандюга! — отпихнула от себя старика.

Тот отлетел на метр, но удержался на ногах и, ворча что-то про себя, виновато поплёлся обратно к своей старухе, а Калмычиха, продолжая крыть Сутырина, забросила в канаву осколки разбитых

банок и, засунув в сумку пустую банку и пакеты с творогом, пошла, обиженная, домой. А бабки тихонько между собой злорадствовали: — Демокра-атка!.. Коммунисты ей не нравятся!.. Ну и получила!..

Они, видимо, решили, что этим дело и кончится. Но минут через двадцать Калмычиха вернулась с новыми банками молока, теперь уже — в сопровождении сына, крепкого здорового мужика Николая. Пока она усаживалась на своё место и расставляла банки, Николай прошёл напрямик к сидевшему на дальнем краю ряда и спрятавшемуся сейчас за свою старуху старику Сутырину, поднял его за борта телогрейки, подвёл к краю откоса, назидая при этом:

— Ты чего, падло, тут торчишь, а? Нечего тебе тут руками махать — иди делом займись! — и крепко пнул его под зад.

Тот, пролетев несколько метров вниз, упал в бурую волглую траву, медленно поднялся, матерясь и хрипло выкрикивая:

— Я те покажу! Руки на меня подымать, да? Я те ещё устрою!..

— Добавить? — спросил, решительно делая шаг вперёд, Николай.

Сутырин умолк, ссутулился сильнее и, держась за бок и приволакивая ногу, понуро потащился домой.

— Чтобы тебя тут больше не было, понял? — крикнул ему вдогонку Николай.

Затем, не торопясь, по-хозяйски прошёлся вдоль ряда сидящих бабок и, показав им всем свой большой кулак, произнёс примерно такую, краткую, но внушительную речь (если опустить нецензурные слова): — Ещё раз устроите матери шухер — тут больше ни одной банки стоять не будет! А ты, мать, сиди, никто тебя пальцем не тронет! А тронет — пусть на себя пеняет! Понятно?

И хоть бы одна бабка словечко поперёк сказала! Силу они в течение своей долгой жизни привыкли не столько уважать, сколько бояться и покоряться ей.

На этой примиряющей ноте диспут и закончился.

Но я этого мужика готов был облобызать; в моём мозгу (я вместе с ещё несколькими невольными зрителями этого развернувшегося перед нами действия ждал электричку, сильно запоздавшую — где-то на путях в то утро чинили неполадку) забрезжила надежда: неужели в нашу деревню, где по-настоящему правили бал только алкаши, воры и демагоги вроде старика Сутырина (который до некоторых пор вовсе и не был стариком, но всегда был вор, алкаш и бездельник), с которыми никогда не могли — да и не хотели — справиться никакая милиция и никакой сельсовет, возвращается настоящий хозяин, который несёт не разрушение, а порядок, пусть и примитивный пока, и заявляет о себе хотя бы и так?

## СОЗЕРЦАТЕЛЬ

Иногда спорят о тайне русской души: есть ли она, и в чём она состоит? Я считаю, есть, и суть её — в излишней созерцательности,

а созерцательность высекает в человеке, в свою очередь, целый фейерверк родственных ей качеств: повышенную эмоциональность, ранимость, чувствительность.

Хорошо это или плохо?.. Наверное — и да, и нет; с одной стороны, созерцатель бывает недостаточно твёрд и упорен, излишне чувствен и сентиментален и легко увлекается; а с другой стороны, человек с такими качествами души более переимчив, понятлив, сообразителен, легко учится, чётко к красоте и страданию. Причём созерцатель как тип не вымирает с течением времени, хотя интенсивность жизни растёт и русский человек становится по преимуществу горожанином — а ведь город, что ни говорите, человека сушит и нивелирует.

Но интересно то, что русский человек нынче стесняется своей созерцательности.

Одного такого созерцателя в его чистом, так сказать, виде я обнаружил в Таловке, в которой теперь часто и подолгу живу.

Разговорился я с ним в электричке. Это мужчина лет за сорок, серьёзный, начитанный, и говорить с ним интересно — на всё у него свой, резко индивидуальный взгляд. Особенно заинтересовал он меня тем, что родился именно здесь, в Таловке; здесь и деды, и родители его похоронены, здесь прошло его детство; он прекрасно помнит, как здесь всё было раньше, знает таёжные окрестности на полсотни вёрст вокруг: знает, например, — что для меня очень ценно — где именно хорошие грибные и ягодные места...

Неоднократно с ним общаясь, я узнал его ближе. Закончил он технический вуз, работал в молодости в НИИ, учился в аспирантуре; однако семейные обстоятельства (а точнее, жена) заставили его бросить малоденежную науку и поступить на завод, где он второй десяток лет одолевает, ступенька за ступенькой, иерархическую лестницу инженера, начав сменным мастером и добравшись до должности начальника цеха. Причём, как он сетовал, это его потолок до самой пенсии — дальше ему не продвигаться: дальше уже нет надежды на интеллект и личные качества; чтобы двигаться в наше время дальше, нужны или мощные интриги, или влияние каких-то внешних сил, а использование того и другого — не в его правилах: человек он явно скромный и порядочный.

А что семейная жизнь его не совсем, видимо, задалась, я сделал вывод сам: ни разу я не видел, чтобы с ним приезжали в Таловку жена или взрослые дети — всегда один.

Наследственный дом у него здесь — даже не дом, а классическая, чисто сибирская усадьба, хоть музей в ней устраивай: сложенная из смолистых лиственничных брёвен цвета старой тёмной бронзы изба-пятистенок с тесовой кровлей, тяжёлыми ставнями и наличниками без всяких украшений; крытый двор, и двор этот вместо изгороди окружён бревенчатым, подобно мощным крепостным стенам, заплотом; огромные глухие ворота на столбах-верях метрового диаметра;

внутри двора — бревенчатые же сараи и навесы с высокими сеновалами наверху, — всё это, некогда несокрушимо крепкое и могучее, теперь медленно и неотвратимо приходит в упадок, перекашивается, гниёт и зацветает зелёно-бурыми пятнами мха и лишайника, а немереный, бескрайний огород после смерти матери его зарастает высоченным, в рост человека, осотом.

Что-то у моего знакомого — назовём его условно Н. Н. — в огороде всё-таки кем-то сажается, сеется и растёт, но сам он, как я заметил, по чисто сибирской привычке, очень уж охоч до тайги: с весны до осени, как только приедет в выходной, так сразу же с корзиной или рюкзаком — в тайгу, которая, кстати, не совсем ещё вытоптана до сих пор — кормит, если побродить как следует, и сельчан, и дачников черемшой и жимолостью, малиной и грибами, а то и балует, если забраться подальше, кедровым орешком. Причём «мышкует» этот мой знакомец Н. Н. с азартом: уходит пораньше с утра, возвращается поздненько, и, смотришь, вроде и урожая нынче кот наплакал, а несёт себе полную большую корзину.

Я тоже уже изрядно исходил нашу тайгу и тоже знаю, где что можно добыть, хотя и не так часто теперь отправляюсь и далеко стараюсь не забираться: с возрастом начинаешь слишком ценить время, единственное, в чём позволяю себе быть скупым; но иногда, увлётшись, далёконько забредёшь — да и откроешь для себя что-нибудь новенькое.

Нынешним сухим летом, например, когда грибов было мало, я, чтобы хоть что-то набрать, сделал слишком большой крюк и, зайдя в совершенно неведомый мне распадок, обнаружил там, среди тайги, прекрасное уютное местечко: понизу журчит, вытекая из болотистой топи, ручеёк, но в одном месте близко к нему подступает каменистый взлобок, и ручеёк этот, остановившись, образует крохотное озерцо с чистым, покрытым мелкой, чисто отмытой галькой дном, а рядом с озерцом, на пологом скате, — солнечная поляна, вся в розовом цветущем клевере и ромашках; и так хорошо после блуждания по чащобе, попив хоть и пропахшей травой и болотом, но всё же чистой, родниковой, слегка прогретой солнцем воды, растянуться на этой поляне, раскинуть руки и заглядеться в синее небо. И — полная тишина вокруг: самые громкие звуки — только пенье комарика да лёгкий шелест стрекозиных крылышек над озерцом. Хотя видно, что и здесь бывают люди, — есть следы...

Нашёл я это место, попил, полежал на полянке — да и пошёл себе дальше, а место запомнилось: очень уж там добротное, солнечно, светло, и хорошо — «растворённо» в природе — отдыхается. Так что когда пошёл за грибами в другой раз — опять потянуло завернуть туда.

Подхожу и ещё не вижу, но уже чувствую: кто-то там есть. Даже не знаю — почему: то ли птичка впереди тревожно попискивала, то ли, наоборот, слишком напряжённая, замершая тишина вокруг?..

Одиночество в тайге приучает к самодисциплине и осторожности; на контакт с человеком идёшь не очень-то охотно: кто он такой, и что у него на уме, когда он один? И, словно со зверем, хочется разойтись каждый своей дорогой. И под ноги, и по сторонам глядишь в оба: попробуй только оступись, подверни ногу — и запросто согнуть бесследно ни за понюх табаку. И как-то сам собой компьютер в голове заставляет считать время, не терять сторон света, замечать ориентиры и чужие следы.

Словом, к той поляне со стороны леса я подошёл осторожно, всмотрелся сквозь стволы — и в самом деле: лежит в траве человек, закинув ногу на ногу и, точно так же, как я недавно, грызёт, запрокинув голову, травинку и смотрит в небо. Я даже почувствовал весьма остро, как он там блаженствует среди запаха трав, тепла, тишины и одиночества. Зачем, думаю, мешать? — повернулся и так же тихо удалился. Походил ещё часа два, наполнил наконец корзину доверху, и чувствую — притомился, так что ещё сильнее захотелось туда зайти — попить водички и отдохнуть. Тот любитель тишины, наверное, уже взял своё? Теперь моя очередь.

Подхожу так же осторожно, смотрю сквозь деревья — чёрта с два!

Причём, во-первых, он теперь, разувшись и закатав штанины, стоял по щиколотки в воде и, наклонившись, шарил что-то по дну рукой, а во-вторых, всмотревшись, я узнал в нём моего знакомого Н. Н.! Вот так номер! А корзина его — совершенно, между прочим, пустая! — валяется в стороне.

Мне стало интересно: что же он там, в воде, ищет? И что он вообще там делает? Присел за кустом на мшистую колоду и подсматриваю, а в голове — разные предположения, в том числе и подозрительные... Ну не может человек посреди тайги в полном одиночестве провести полдня просто так, ничего не делая — даже не сняв рубашки, чтобы позагорать! Что-то очень серьёзное его там держит!

А Н. Н. между тем кого-то ловил: медленно-медленно, крадучись, опустит в воду руку, потом — хват! — вытащит что-то, зажатое в кулаке, и рассматривает... Может, у него хобби такое — собирать водяных жуков?

Но нет, проделав так два или три раза, он спокойно вышел из воды, раскатал штанины и сел на траву с уже заметно скучающим видом. Потом упал на живот, положил голову на руки и, похоже, задремал.

Меня это его странное поведение настолько сбilo с толку, что я так и не решился нарушить его покой: тихонько опять отошёл и направился домой — время уже к вечеру, а идти ещё часа два. И всё думал о моём знакомце, пытаюсь разгадать: что же он там делает?

Пришёл домой, а через час, смотрю, вышел из леса и он, и корзину тащит полную, прикрытую сверху травой от любопытных взглядов. Но ведь не мог он ничего набрать за этот час! И меня осенило подозрение... Только надо было его проверить.

А тут начались дожди, ненастья, и продлились они чуть не с месяц. И всё это время я не видел, чтобы Н. Н. ходил в лес.

Только в начале сентября погода наконец установилась. Правда, теперь уже прохладная — но солнечная, светлая, тихая; природа поблёкла и начала мало-помалу вызолачиваться. И тут мой знакомец снова подался с утра с корзиной в лес.

Ага, думаю, кажется, мои предположения оправдываются!.. Выждал часа полтора и, тоже прихватив корзину, пошёл следом, хотя дел дома было невпроворот, да и уборку урожая пора начинать, пока погода стоит. Но уж очень хотелось проверить, прав ли я... И пошёл напрямик к тому озерку. Подхожу, осторожно прячась, уже знакомым мне путём — точно! Корзина валяется, он лежит посреди поляны на животе и сосредоточенно гоняет кого-то там травинкой — муравья, наверное, или букашку?.. Наконец ему это надоело; сорвал поздний одинокий цветок, поднёс к носу и долго внюхивался в него, закрыв глаза; потом упал на спину и раскинул руки, блаженно подставляя лицо нежаркому, но необыкновенно ласковому сентябрьскому солнцу.

Я повернулся и, не теряя времени, пошёл домой. Собирать грибы было некогда — брал только те, что сами лезли под ноги, да и тех — кот заплакал. Но я шёл и улыбался, удовлетворённый: одной человеческой загадкой меньше. Человек становился понятней и одновременно — мельче, проще, слабее. Но и — трогательней и беззащитней. Ближе.

Вот вам тип созерцателя в его чистом, так сказать, виде. А сколько их, созерцателей попроще или, наоборот, глубоко прячущих свою суть не только от близких, но и от самих себя, живут, стыдясь своей тихой слабости, в больших и малых городах, в деревнях и сёлах — пьются по многу часов подряд в «ящик», неторопливо, как в замедленном кинокадре, пьют пиво и курят в компании себе подобных или в одиночестве, сидят часами неподвижно по берегам рек и прудов с удочками, или по паркам и скверам на скамейках, или в деревнях на завалинках, уставив взгляды в пространство... Мой Н. Н. по сравнению с ними — счастливее; в чём-то я ему даже завидую: по крайней мере, сам перед собой он честен.

## НЕМЕЦ

С нашими таловскими соседями Марьей Ефимовной и Иваном Прокопьевичем мы жили, можно сказать, душа в душу. Недаром пословица говорит: не дом покупаешь, а соседа. Да и как иначе? Даже две калитки в нашем общем заборе были, чтобы ходить друг к другу не через улицу, а напрямик: одна калитка — со двора во двор, а вторая — в огороде, внизу, рядом с их колодцем. И пользовались мы ими регулярно. К примеру, летом, когда они всей большой семьёй, со взрослыми детьми, с внуками, в течение чуть ли не двух недель пропадали на покосе, возвращаясь домой только ночевать, — то



просили мою матушку присматривать за их домом и за огородом, и матушка смотрела лучше, чем за собственным, — того и гляди, бичи или цыганки заберутся: что она тогда скажет соседям, как в глаза им посмотрит? То же самое и зимой, когда они уезжали на праздники в город, в гости к детям. А если и оставались дома, то матушка с Марьей Ефимовной ходили одна к другой — и с праздничком поздравить, и стряпнёй обменяться.

А когда матушка перестала корову держать, то стала покупать молоко у них. Правда, летом многочисленные их внуки выпивали всё дочиста, и мы тогда ходили за молоком к разным соседям, но зимой — пожалуйста; причём с началом осени Марья Ефимовна сама приносила молоко, давая понять, что теперь можно брать молоко у них... Словом, обычные соседские отношения.

Но вот внуки у них подросли. Да только очень постарели за это время они сами. Тяжко заболел Иван Прокопьевич и, промучившись зиму, умер. Пришлось Марье Ефимовне всё их обширное домашнее хозяйство сворачивать: продала пчёл, лошадь, корову, на две трети сократила посадки в огороде и года два жила одна. Да только трудненько ей стало и это: летом уже не могла содержать целый выводок ребятни — от силы одного-двух. Взрослые же её дети, обещавшие регулярно ездить по очереди и помогать ей, стали наведываться всё реже — у всех в городе появились свои неотложные дела.

Хотя дома у Марьи Ефимовны и был телевизор, но зимними вечерами, так и не привыкнув к полному одиночеству, она часто теперь приходила в гости к моей матушке — пожаловаться на болезни, на детей, на домашние проблемы, одолевавшие её, из которых главными были две: во-первых, кончались колотые дрова, а колоть чурки, как раньше, сама она уже не могла; и во-вторых, в бураны напрочь переметало тропинку к колодцу в огороде, так что пройти туда ей тоже было не под силу. Мне приходилось помогать ей и дрова колоть, и возить от колодца санки с флягой воды.

А тут старшая дочь, её любимица, бухгалтер какой-то большой фирмы, взрослая солидная женщина, мужа похоронила и осталась одна в квартире. Выросшие её дети жили уже сами по себе; и задумала она забрать к себе Марью Ефимовну. Уговаривала она её едва ли не год. У Марьи Ефимовны была на это одна-единственная отговорка: «Как же я дом-то оставлю? Пропадёт он тут без меня!» На самом же деле, знаю, продавать ей его не хотелось: мало ли как жизнь в городе сложится? Как без своего дома? Свой — он и есть свой!..

И всё же дочь переупрямила: кое-как уломала её продать дом. Развесили и здесь, и в городе объявления.

Но Марья Ефимовна нарочно придумала повод ещё оттянуть время — запросила за дом столько, что соседи ахнули; про такие цены тут до сей поры не слыхивали: сторона таёжная, дороги непролазные, богатых городских дачников было сюда в те годы не заманить, а для

небогатых — за железной дорогой, на бывших деревенских покосах, — пожалуйста, сколько угодно дешёвых дачных курятников с ухоженными, вылизанными участками в шесть соток.

«Да ни в жисть тебе, Ефимовна, не продать свой дом — так и будешь до самой смерти тут куковать!» — насмешничали над ней соседки. «Значит, буду куковать», — смиренно отвечала она им.

Так что прошло ещё года два. Покупатели появлялись, простукивали едва ли не каждое бревно и каждую доску во всех постройках, бешено торговались и в конце концов исчезали ни с чем.

И всё же покупатель явился и выложил ровно столько, сколько она просила. Даже не торговался. Съездили в район, подписали какие надо бумаги, и хозяин вступил в свои права, а Марья Ефимовна, придя к моей матушке и наплакавшись вволю, навсегда уехала в город. А у нас с матушкой появились новые соседи.

Соседа звали Рудольф, соседку — Люба. Только фамилия у них немецкая, длинная и заковыристая — чуть ли не Гутенморгены, так что никто не мог её запомнить. Ну да кому в деревне нужны фамилии? Помнится, не меньше десятка лет прошло, пока я не узнал своих ближних соседей пофамильно, а дальних так и до сих пор не знаю: Маша да Коля, Таня да Серёжа... Правда, женщины разузнали, что сама-то наша новая соседка Люба — русская.

Далее молва донесла, что оба — новоявленные пенсионеры с нашего же, красноярского, Севера: он водитель большегруза был, она — продавщица, так что проблем с деньгами у них, стало быть, нет, и покупали они не дом, а место — очень уж оно им понравилось: в самом центре деревни, рядом — и магазин, и станция; внизу, за огородом, — речка, за речкой — лес. И в усадьбе всё на месте, и огород немереный.

Стали мы с матушкой присматриваться к новым соседям внимательнее, здороваться по утрам. Однако сосед оказался неприветливым: поздороваяешься с ним — буркнет что-то в ответ, а не поздороваяешься — так будто и не заметит тебя. Ну, да не очень-то и надо навязываться.

Правда, с первого же взгляда стало понятно, что — не городские: как только заявили — тут же переоделись, засучили рукава и — за работу оба: она, с лопатой и граблями, — за гряды, он — за топор с пилой. Причём крупные, могучие оба; когда он раздевался до пояса, так руки у него — словно две толстые чурки: натренировался, видно, на шофёрской работе! Интересно, что другой мой сосед, Вася (тот, что все свои стройматериалы ворует на работе), тоже, слава Богу, силой не обижен; но ему до Рудольфовых бицепсов далековато... И главное, Рудольфова подруга Люба мало в чём уступит ему по комплекции.

И ещё одну Рудольфову особенность я заметил, то бишь услышал: оказался он первостатейным матерщинником — любому Васе фору

даст. Причём матерится вполне по-русски — трёхэтажно и витиевато. Научился!..

Надо сказать, что давным-давно, ещё когда Иван Ефимович был здоров, а двое его сыновей-погодков, придя из армии, не знали, куда деть избыток сил, — втроем со своим отцом они успели столько всего понастроить в своей усадьбе! Были там огромные сараи с высоченными сеновалами, куда входили целые стога сена без остатка; в огороде стояло несколько капитальных теплиц, а отдельно стоящая в огороде баня — хоть живи в ней! — была не просто баней с парилкой и предбанником, а ещё и душевой, и летней кухней, и прачечной, и водогрейкой с котлами; а весной в больших окнах этой бани буйствовала рассада... Правда, с тех пор, как всё это было построено, прошло уже лет двадцать, и постройки успели немного пообветшать, но выглядели ещё вполне исправными.

И вот новый наш сосед, играя мышцами и жаждая обновить своё хозяйство, первым делом взялся раскатать по брёвнышку сарай. Сам. Один! Это было что-то ужасное: такой треск и грохот стоял несколько дней, такая пыль заволокла усадьбу! Казалось, что брёвна он не просто раскатывает — а с остервенением крушит их в щепу... И раскатал. Одних только брёвен накатал кубометров сорок, не считая тонкомера, жердей и досок...

В деревне к тому времени ещё остались два-три мужика, помнивших былые времена, когда на трудоёмкую работу звалась коллективная *пóмочь* с соответствующей платой за труд в виде выпивки и закуски. И вот эти два (или три?) мужика, услышав грохот ломаемых сараев и видя, что новый деревенский хозяин взялся за немислимую по объёму работу, пришли и скромно предложили свою помощь. Хозяин же от помощи отказался, недвусмысленно послав их на три буквы. И за два летних месяца сам сложил из наличного материала новый сарай. Был, правда, этот сарай меньше размерами, зато — более аккуратным и с некоторой претензией на общий архитектурный замысел.

Сарай этот, ко всему прочему, сосед ещё и выкрасил масляной краской, самой простой — коричневым суриком, каким обычно полы красят. Это дерзостное новшество (никто никогда сараи в деревне не красил) было совершенно недоступно пониманию моих односельчан и настолько удивило их, что кто-то из соседей спросил Рудольфа — причём таким тоном, будто уличил в непомерной глупости: «Да зачем же сарай-то красишь?» — и он будто бы ответил просто и понятно: крашенная древесина служит в два раза дольше, чем некрашенная.

И всё же соседям это объяснение было совершенно непонятно: ну хорошо, сарай вместо сорока-пятидесяти лет простоит, скажем, целых сто — ему-то, Рудольфу, какая выгода? Ведь не только он сам, не только дети его, уже взрослые, — а и внуки его не доживут до того

времени! И вообще, что будет через сто лет? Нужны ли будут кому-то эти сараи?.. Так что над новым хозяином лишь посмеялись да тихонько покрутили пальцем у виска. Но поскольку этого серьёзного мужика никто никогда смеющимся не видел, вслух свои недоумения высказывать поостереглись.

Затем сосед таким же образом переделал теплицы в огороде. За теплицами — баню. Всё выглядело теперь ровнее, прямее, стройнее, и всё непременно было выкрашено краской.

На всё это у нашего трудолюбивого соседа ушёл целый год.

На следующий год он взялся за дом. Дом он оббил вагонкой и выкрасил его целиком, от земли до крыши, да разными красками: стены — нежно-зелёной, ставни — жёлтой, а оконные рамы — белой. Дом стало просто не узнать — таким нарядным он теперь был. Кроме того, хозяин обновил забор, выходящий на улицу, и ворота, и штaketник своего палисадника, и всё это тоже покрасил своими любимыми, видно, красками: нежно-зелёной, белой и жёлтой... А когда вместо старой кровли из почерневшего от старости волнистого шифера, обросшего поверху слоем грязно-зелёного мха, настелил новый, почти белый на солнце шифер — дом его превратился в настоящий расписной терем, бросивший дерзкий вызов всей остальной деревне, сплошь расхристанной, блёклой и грязно-серой.

Только года через два после этого на самом краю деревни вырос новый двухэтажный коттедж, построенный каким-то полковником в отставке, тоже расписанный боевыми красками, так что коттедж этот принял, наконец, вызов, брошенный нашим немцем, и восстановил некоторое цветовое равновесие в деревне.

Теперь уже ждали: чем ещё удивит нас Рудольф, когда закончит расписывать дом?.. И он удивил. Проснувшись однажды утром, мы обнаружили, что он, ни у кого не спросясь, взял и перекопал нашу улицу: вырыл поперёк неё траншею глубиной, наверное, метра в два, причём — вручную, только с ломом и лопатой, — прямо-таки не человек, а экскаватор! А чтобы люди не ругали и не кляли его — предусмотрительно пробросил через траншею две толстых доски.

По-моему, вся деревня в тот день прошла по этим доскам — и не однажды, с недоумением заглядывая в траншею: что он там такое удумал? Но на всякий случай от вопросов воздерживались.

А я сразу понял, в чём дело... Наша длинная улица с двух концов имеет почти незаметные глазу уклоны, и уклоны эти сходятся как раз между нашим и Рудольфовым домами, так что весной, в водополье, тут, перегораживая улицу, испокон века стоит преогромная лужа.

Лужа эта почему-то никого никогда не беспокоила — за много лет к ней привыкли, тем более что между лужей и забором едва высилась над водой тропинка, и по ней можно было пробраться. А чтоб было удобней идти — поверх тропинки ещё бросали плашечки, жёрдочки,

кирпичи, и все по ним прыгали, благополучно каждый раз пробираясь мимо лужи...

Все двадцать лет, что я тут жил, лужа эта меня раздражала. Весной я прокапывал через тропинку узкую траншейку, чтобы спустить из лужи воду, но траншейку эту постоянно забивало — её надо было регулярно чистить. И, конечно же, я ломал голову и над тем, что хорошо бы найти и уложить поперёк дороги трубу, чтобы вода из лужи уходила совсем, — но где взять трубу? Да работа эта и не под силу одному — опять же, где взять помощников?.. А между тем к середине лета лужа высыхала, и проблема исчезала сама собой. Чтобы в осенние ненастья в полном объёме вернуться снова...

Надо ещё сказать, что в проулке за нашей улицей есть старая большая яма неизвестного происхождения, и в эту яму все, кому не лень, бросали разный мусор, в том числе и старые железные бочки, днища которых от времени безнадежно проржавели.

Так вот мой сосед после того, как выкопал траншею, собрал эти бочки, выбил из них остатки днищ и уложил бочки в траншею вприкрык. Получилась цельная, большого диаметра железная труба. От трубы он отвёл канаву, пустив её как раз между нашими усадьбами, а саму трубу засыпал и утрамбовал. Затем у одного из владельцев взял лошадь с телегой, за несколько дней навозил на засыпанную траншею гравия с железнодорожного тупика и утрамбовал гравий ручной трамбовкой. Получилась красивая дорога, а лужи не стало!

Мне было стыдно смотреть на всё это, оттого что не я это сделал, и оттого ещё, что не помог ему. Но как бы я ему помог? — ведь я ж не знал его планов! Да и был уверен — он откажется от моей помощи, непременно всё сделает сам, как бы в назидание мне, бездельнику: жил, мол, тут двадцать лет до меня и ничего не сделал! Единственное, что я мог, — это проглотить обиду и махнуть рукой: ну и делай сам, раз взялся!..

С тех пор прошло достаточно времени. Никто в Таловке уже не обращает внимания на Рудольфовы «заскоки» — привыкли, даже к тому, что зимой он каждое утро прокапывает или прочищает примерно полукилометровой длины тропинку от своего дома до магазина, которая — среди наших-то сугробов! — к концу зимы становится больше похожей на траншею глубиной в человеческий рост. И так — каждое утро, в течение всей нашей пятимесячной зимы, уже много лет подряд. По тому, как он каждое утро в восемь ноль-ноль, ещё в глубокой зимней темноте, выходит чистить свою тропу, можно часы проверять — не ошибёшься.

Деревня в это время ещё спокойно спит или только просыпается. Потом начинает жить своей обыденной жизнью: люди встречаются, приветствуют друг друга, интересуются здоровьем, новостями... Рудольфа при этом будто в упор не видят: не здороваются, не заговаривают с ним, не благодарят за работу. Однако же молча принимают

его работу и пользуются его тропинкой. А он также молча продолжает каждое утро чистить свою тропинку в снегу. И у меня такое впечатление, что с помощью этой тропинки он терпеливо оплачивает свой вклад в общую жизнь Таловки. Впрочем, вполне может быть, что ничего такого он и не думает вовсе — а копает или чистит тропинку для самого себя и своей Любы из какого-то только ему доступного чувства безупречного порядка, и всё тут...

Помнится, однажды посреди зимы он перестал чистить свою траншею. День не чистит, два, неделю, вторую. За это время бураны занесли траншею почти доверху, и, каюсь, я подумал тогда не без тайного, противного самому злорадства: ага, не выдержала твоя немецкая душа, обрусела, сдалась на милость сибирской зимы!.. И уверен на сто процентов: вся Таловка думала то же самое и с таким же злорадством... А через две недели смотрим: опять траншея вычищена!.. Оказывается, болел Рудольф, в городе лежал и вот вернулся...

Кстати, о тех двух калитках, что соединяли наши с Марией Ефимовной и Иваном Прокопьевичем усадьбы... Конечно же, с тех пор, как Мария Ефимовна уехала, мы с мамой в эти калитки перестали ходить — незачем стало. Забор, что разделял наши дворы, постепенно обветшал; Рудольф перестроил его на свой лад, и в новом заборе калитки уже не оказалось. А та калитка, что рядом с его колодцем, существует до сих пор, но за ненадобностью заросла крапивой. С моей стороны, разумеется.

Если сначала я с Рудольфом здоровался — по старой привычке здороваться с соседями, то постепенно эта привычка сошла на нет, и теперь, когда он появляется за забором, я невольно вижу лишь бледное пятно, и мне нужно некоторое усилие над собой, чтобы отметить в своём сознании: вон вижу соседа.

И странное у меня сложилось к нему отношение: я уважаю, я очень уважаю его огромное трудолюбие, упорство, независимость, решимость браться за любое дело и непременно доводить его до самой последней точки — но почему, почему прочие мои соседи, леноватые порой, нелепые, нерасчётливые, пьющие, мне ближе, чем вот он, хотя эти свойства душ моих прочих соседней меня порой очень раздражают? Тайна сия велика бысть, как писали в старинных рукописях.

Словом, никаких чувств мой сосед во мне не вызывает. Никаких! От этого в душе у меня возникает некое беспокойство: ведь абсолютно всё, что меня окружает, — знакомые, малознакомые или совсем незнакомые мне люди, собаки, коровы, дома, заборы, деревья, трава — неизменно вызывает во мне сложную смесь эмоциональных реакций, радостных, грустных, неприятных; я с младенчества привык к эмоциональному восприятию своего окружения! Тем более если под боком у меня — ближайший сосед. А когда какое-то существо или предмет ничего не вызывает — меня это начинает беспокоить, как если бы я чувствовал, что оттуда, где я ожидал увидеть нечто живое, тянет

пустотой. .. Хотя что это я? Дай Бог моему соседу ещё на много-много лет могучего здоровья, на радость всем его родственникам! А что характер у него такой. .. Так среди русских бывают ещё и не такие затейливые. И мало ли что: может, какой-нибудь случай ещё сведёт нас с Рудольфом и, чего доброго, сдружит? Всякое ведь в жизни бывает.

## ТАЛОВСКИЕ ФЕРМЕРЫ

По Таловке однажды слух пошёл: «фермер» да «фермер».

— Что за фермер? О ком вы? — поинтересовался я.

— Да фермер на дачах объявился, — объяснили мне.

В деревне, как известно, событий мало, а фермеров и в глаза не видывали, так что по поводу появления этого фермера деревенские женщины поначалу, помнится, просто языки измозолили: сначала — что вот дали фермеру тридцать гектаров земли на пустошах, потом — будто бы дали в банке ссуду, да сколько дали; затем — какой огромный дом начал строить; потом — какую технику из города пригнал: трактор с плугами, с сеялками, да ещё комбайн в придачу (никто не мог взять в толк, зачем ему здесь, в таёжной глухомани, комбайн; потом, правда, выяснилось: комбайн всучили в обязательном порядке, когда ссуду давали). Потом пошли пересуды о деталях частной фермерской жизни. О том, например, как приезжали к нему в выходной жена с дочкой, да в каких красивых платьях, да на каких каблуках.

Между прочим, сам факт мимолётного этого приезда женщин, вроде бы и незначительный, сразу изменил отношение деревни к фермеру с выжидательно-заинтересованного на насмешливое.

Потом насмешливое отношение сменилось и вовсе враждебным. Дело в том, что одна из деревенских коров вернулась однажды домой с окровавленным стегном: кто-то рубанул её не то топором, не то острой лопатой и рассёк шкуру до мяса. Но мало ли кто мог? Дачники кругом. А может, кто-то поразбойничать приехал, прирезать в лесу зазевавшуюся корову — да не получилось? Но подозрение пало на фермера. У него, дескать, огород плохо огорожен, вот коровы и лезут. Хозяин коровы ходил к нему ругаться; тот отнекивался. Но с тех пор и пошло: коров его в отместку били, собак травили. А потом на него и вовсе махнули рукой — никому стал не интересен.

Я часто посматривал на его усадьбу издали: когда подъезжаешь к Таловке на электричке, хорошо виден среди дачных домишек огромный недостроенный дом с торчащими в небо стропилами, словно нахохлившаяся курица-наседка в окружении цыплячьего семейства. А познакомиться с самим фермером оказии не случалось.

Но с некоторых пор я стал замечать на станции кряжистого пожилого человека, который приходил сюда с тяжёлой поклажей из двух больших хозяйственных сумок, связанных вместе и перекинутых через плечо, и ещё одна — в руке. Человек этот обращал на себя



внимание тем, что как только он приходил, снимал и ставил на землю поклажу — тут же начинал шумно общаться со стоящими вокруг дачниками и деревенскими; все его знали и охотно поддерживали разговор, в котором неизменно верховодил он сам. Говорить он мог о чём угодно: об очередных выборах, о пенсиях, ценах, погоде, сенокосе, видах на урожай на дачах, в огородах и тайге, — не существовало, кажется, темы, городской или сельской, на которую бы он не смог рассудительно побалагурить.

Но однажды на перроне оказались только я да он, и мы неизбежно завели разговор. Выяснилось, во-первых, что зовут его Андреем Андреевичем, или попросту — Андреичем, что он пенсионер и постоянно живёт на даче; удивительно, как не походил он на тех стариков-пенсионеров, которые только и могут раздражённо долдонить, что «раньше было лучше», — он просто искрился весь здоровьем, доброжелательностью и юмором. Во-вторых же, выяснилось, что он держит на даче коров, возит в город молоко, творог и сметану.

— Так вы фермер? — спросил я, имея, разумеется, в виду того самого, который стал притчей во языцех у всей деревни.

— Н-ну, можно сказать, фермер, — уклончиво ответил он, а уточнить не получилось: подошли его знакомые, и наш с ним разговор замялся, хотя он успел, видя мой интерес к нему, пригласить меня к себе.

И вот, пользуясь приглашением, пошёл я закрепить знакомство да посмотреть на его хозяйство. Прихожу на фермерскую усадьбу — а там убогость и запустение: брошенная на улице, засыпанная снегом, заржавленная техника, совершенно не используемая; дом — всего лишь сруб со стропилами, но без окон и перекрытия; внутри всё завалено снегом...

Позади дома обнаружил я запертую на замок лачугу, в которой, видимо, ютится сам хозяин с привязанной перед дверью собакой, а из дощатой сараюшки, что впритык к лачуге, начала вдруг, заслышав меня, ревмя реветь корова, голодная, похоже, до такой степени, что это был даже не рёв, а выворачивающий душу вопль о помощи. Но как сунешься помочь? Чужое добро неприкосновенно.

Смотрю, над одним из соседних дачных домиков дымок курится. Пошёл за разъяснениями. Тут-то и выяснилось, что фермер и Андреич — совсем не одно и то же лицо: Андреич живёт на другом краю дачного посёлка, — а на вопрос, как найти фермера, мне ответили, что это непросто: работает он в городе, рано уезжает и возвращается поздно. Причём и здесь этого мифического фермера называли не по имени, а только «фермером», прилагая при этом неуволвимую насмешку.

А усадьбу Андреича я нашёл по нескольким огороженным стогам сена на заснеженной поляне перед невзрачным дачным домиком, окружённым невзрачными же сараюхами, и по целому коровьему стаду за отдельной загородкой на той же заснеженной поляне. Коровы грели бока под бледным зимним солнышком, сонно жевали жвачку,

теряя длинные серебряные паутинки слюны, и взирали на меня с тупым равнодушием.

Меня учуяла свора собак за воротами — подняли такой яростный гвалт, что хоть ретируйся от беды подальше. «Да-а, хозяев здесь врасплох не застанешь», — ещё подумал я... Тут-то и появился в воротах сам хозяин, добродушнейший и велеречивый Андреич. Угломонил кое-как собак, проводил меня в дом. Жёну он сегодня, оказывается, снарядил в город к детям и домовничает сам. Усадил меня и принялся было потчевать:

— Хотите котлет? Свеженькие, горячие!.. А молока?.. А может, творога со сметаной?..

Нет, ничего не хотелось; остановились на чае. И вот сидим, пьём чай, поглядываем в окно и беседуем. В доме тепло, с печного шестка густо пахнет щами, а за окном — добротный сельский пейзаж: рябина в палисаднике с поникшими, припорошёнными снегом алыми кистями, медлительные, выдыхающие облачка пара коровы на снегу, стога сена, заснеженная поляна с каймой березняка вдалеке.

Я, глядя на сытых коров Андреича, рассказываю, как заходил сейчас к фермеру, что там видел и как там ревела одинокая корова: её рёв ещё стоял у меня в ушах.

— Это ж надо — так мучить животных! — вскинул руки экспансивный Андреич. — Своими бы руками давил таких! Собаки у него дохнут на цепи с голоду, а коровы — только что железо не грызут!..

Беседа наша течёт дальше. Собеседник он занятный, и мы оба просто накидываемся друг на друга; темы возникают сами собой и неспешно перетекают одна в другую.

Когда я понял, что просто не могу не написать о нём, — прошу у него разрешения на это; следует бурный протест. Пытаюсь объяснить: ведь это — для всеобщей пользы. Убедил кое-как.

Итак, вот что из сведений его о себе показалось мне интересным. Образование — среднетехническое; работал в городе на заводе; последняя перед пенсией должность — главный энергетик цеха. В общем, человек грамотный и, как я понял, неплохо начитанный в разных областях знаний... Дачу с женой держат лет двадцать. В начале перестройки, когда началась полоса голодных лет и кое-кто из дачников стал держать на дачах живность, мой герой вместе с женой тоже завёл там корову. Понравилось; даровая таёжная земля кругом — отчего ж не держать? Когда вышли оба на пенсию, то завели ещё одну корову. Потом третью... Сейчас у них пять дойных коров, огулявшаяся тёлка, бычок-производитель да два телка, оставленных на зиму. Итого девять голов. Да ожидают в течение зимы приплода из трёх телят, так что к лету будет двенадцать голов... Сено? Косит сам, вручную. Всё лето. Привезти его нанимает того же «фермера» с трактором. Прикупает комбикорм. Молочные продукты возит в город — отсюда и регулярные ездки на электричке с тяжёлой поклажей. В городе на

рынке не стоит — есть у него десяток семейств, которые знают его, доверяют его продукции и дают ему заказы, причём в заказах — не только молочные продукты, но и мясо, и овощи, и он доставляет всё это прямо на дом, обеспечивая этот десяток семей сельхозпродуктами полностью (кроме хлеба, разумеется).

Я тотчас прикидываю: десять семей — это примерно тридцать человек. Стало быть, мой новый знакомец если и не совершает подвига, то уж, во всяком случае, занят прекрасным делом: при минимальнейшей механизации труда (из механизации у него только водяной насос да сепаратор, да ещё сено ему подвозят на тракторе) они с женой, кроме самих себя и своих детей вкупе с их семьями, кормят ещё тридцать человек, то есть всего — около сорока горожан, не взявши ни рублика у государства на организацию производства. Да если бы каждый работающий на земле россиянин накормил сорок горожан — Россия уже давно бы решила продовольственную проблему!

Вопрос его заработка мы деликатно обходим, хотя прикинуть его довольно легко. Во всяком случае, деньжата у него водятся, судя по тому, как ему хочется в будущем привезти бетонных блоков и кирпича и поставить кирпичный коровник — сараюхи-временки ветшают, да купить две большие железные ёмкости: одну — для комбикорма, чтоб мышей не плодить, а другую — для воды, — да провести воду в сарай, чтоб не носить вёдрами... Выражаясь экономическим языком, хозяин собирается вкладывать деньги в производство — верный признак, что производство стоит того, чтобы на него тратиться.

— Слушай, Андреич, — говорю я ему (в ходе беседы мы уже обращаемся друг к другу накоротке), — так ты ж настоящий фермер — у тебя отлаженное товарное производство!

— Да какой я фермер? — скромно отмахивается он. — Любитель...

Почему ж, интересно, он не хочет считать себя фермером? Вот и деревня тоже: чужого, не прижившегося здесь человека зовут «фермером», а Андреич — какой же фермер? Просто Андреич.

А потому не хочет Андреич зваться фермером, что сыграли тут роль и наш, и легион прочих липовых «фермеров», о которых уже все наслышаны, с их неискоренимым мировоззрением совковых пролетариев: хапнуть под шумок — и в кусты. Это — во-первых.

А во-вторых, как я понимаю, режет слух иностранное слово, медленно входит в оборот. Хотя и входит. А в принципе-то, и заимствовать ничего не надо — есть прекрасное старинное слово, обозначающее человека, самостоятельно хозяйствующего на земле: «крестьянин». Хотя от слова этого так и веет чем-то глубоко патриархальным — не пристаёт оно к нынешним селянам, проворным и суетливым. Да и закон экономии языковых средств работает: из двух слов с одинаковым значением язык всегда выбирает более короткое и энергичное...

Есть ещё слово, ныне забытое, которое могло бы противостоять пришедшему извне, истинно русское, краткое и выразительное:

«кулак»,— возникшее на заре российских рыночных отношений. Но слово это до идиотизма дискредитировано коммунистами. А будь на то моя воля, я бы вновь ввёл его в оборот: так и вижу за ним крепкого духом и телом мужика, умеющего и работать, и выжать доход из земли, того самого, которому нынче самое время прийти и подвинуть Россию на пути к укреплению экономики, к вековечной русской мечте о молочных реках с кисельными берегами, поскольку, по твёрдому убеждению политэкономов-классиков, никем ещё не опровергнутому, всякая экономика начинается с земли и с крепкого крестьянина.

Впрочем, «фермер», «крестьянин», «кулак» — какая разница, как назвать нынешнего индивидуала на земле? Русский язык, я думаю, найдёт в конце концов ему название и без нашей подсказки. Тем более что главная подоплёка в нежелании моего нового знакомого считать себя фермером — не в игре словами. Главная подоплёка — это страх перед властью, которая, как кажется ему, тотчас нагрянет вытрясать из него налоги, как только он примет официальный статус фермера.

Странный, болезненный, казалось бы, но такой реальный страх перед властью. Потому, наверное, что она, эта власть, кажется ему отнюдь не защитницей его, одинокого труженика, интересов — а неким свирепым, безжалостным татаро-монгольским баскаком, готовым тотчас кинуться отнимать появившуюся у него в кармане свободную копейку...

Может быть, у него предубеждение к нынешним институтам власти, и он надеется на приход коммунистов? Оказывается, нет — их он боится ещё больше, потому что они «снова начнут делить всё поровну» и первым делом отберут его коров.

— Но ты же пользуешься землёй,— пробую я прокинуть шаткий мостик в отношениях между ним и властью,— и она вроде бы имеет право что-то получить за неё?

— Да, но я ввожу в оборот дикую землю,— хитро возражает он.— Помнится, раньше (он имеет в виду советское время) на это держали целые организации и платили им за это миллионы. Пусть мне тоже заплатят за это, а уж потом я буду платить налог.

— А если ты не заявишь права на землю и не будешь платить налога — эту твою землю там, в районе, начнут делить между собой!

— Как почувствую: идёт к делёжке,— буду брать,— отвечает.— Но ещё подождём, посмотрим...

— А чего ждать? — спрашиваю.

— Знаем чего! Как вперёд полезешь — так по шее и прилетит...

Мы продолжаем беседу. Пытаюсь выудить из него мнение о главных проблемах фермерства. Сам же и подсказываю их: собственность на землю? кредит? налоги? механизация?..

Ничуть не бывало! Он видит совсем иные, и начинаются они с личности самого фермера — я их перечислю здесь, давая им очерёдность по степени важности, как её понимает сам Андрейч.

Первая проблема — дефицит любви, любви к земле, к животным, к зелёному ростку, к своей профессии. Без этого состояния души можно быть неплохим трактористом, комбайнёром, скотником, но фермером — невозможно.

Второе — дефицит терпения. Нынче всем всё хочется быстро, а на земле быстрого успеха не бывает: сегодня ты пашешь землю, а она тебе воздаст через полгода; у тебя родился телёнок, а молоко или мясо он тебе даст только через два-три года, и всё это время ты должен ежедневно, да что там ежедневно — ежечасно и без выходов! — растить и пестовать его.

Третье — дефицит доброжелательства и честности. Придя работать на земле, ты неизбежно кого-то теснишь; фермерство — отнюдь не отгороженное от всех одиночество: ты в постоянном контакте с поставщиками, покупателями, соседями и в какой-то степени зависишь от всех; поэтому вопрос в том, примут тебя, сочтут «своим» — или нет? Не примут — надо просто бросать всё и уезжать: жизни тебе тут не будет.

И последнее — жадность (которая «фраера губит», как говорит Андреич). Сам я называю это немного иначе — максимализмом, распространённой чертой в русском человеке, когда хочется очень многого, и чтоб непременно — сразу, так что если уж в фермеры — так иметь при этом сто гектаров земли, сто голов скота, дом в десять комнат, кредит в десять-двадцать миллионов, не умея при этом засеять и убрать один гектар и обиходить две-три коровы, а в результате — очередной мыльный пузырь. Потому что фермерство — это не профессия, это образ жизни, при котором надо обладать дюжиной профессий сразу: агронома, зоотехника, ветеринара, тракториста, комбайнёра, бухгалтера, строителя и так далее, и тому подобное, и всему этому надо долго и терпеливо учиться — хотя бы и самоучкой.

Ну а проблемы самого Андреича? В принципе, все они у него разрешимы, кроме одной: не хватает рук. И жена при нём — слабый помощник: это труд не женский; её главная помощь — в доме.

— Ну а сын? Почему сына не увлекаешь? — спрашиваю: уже знаю, что в его городской квартире обитает сын с семьёй.

— Пробовал, — горько усмехается он. — Так он мне: «Ты, батя, зарылся там по уши в назём и меня хочешь в нём утопить?» Я ему, — продолжает Андреич, — «А что назём? Назём — вещь чистая и полезная. Куда чище, чем заграничное дерьмо, что на полках в гастрономе лежит». Ничего пока не помогает. Придёт с работы, пиво откроет — и в телевизор. Приезжает летом на неделю — сено в охотку покосить. Вот тебе и сын. — Да-а, — сочувствую ему. — Ну а если «бичей» на разовые работы привлекать — косить, пилить, строить?

— Пробовал! Бесполезно, — машет он рукой. — Они же, как весна, в тайгу за черемшой все потянулись, а по пути — ко мне заворачивают: то соли им дай, то спичек, то хлебушка. Стараюсь жить с ними в мире, даю. А морозы прижмут — просятся пожить. А зачем они мне

зимой? У меня всё к зиме готово. «Приходите,— говорю,— весной, всем работу найду: лес расчищать, изгороди ставить, землю копать. Мало того,— говорю,— давайте дом сами себе ставить; я помогу. Стадо разведём, огород больше распашем». Обещают. А весной — опять: дай спичек, дай хлебушка,— и в лес...

В этом месте нашего разговора, истолковав мои определённые познания в сельской жизни и мой интерес к нему по-своему, Андреич вдруг вглядывается в меня вприщур и выпаливает:

— Слушай! А давай-ка вместе хозяйствовать, а?

— Да ты что! — опешиваю я. — Я в городе работаю.

— Нет, в самом деле,— начинает он меня прельщать. — Чего ты к городу прилип? А здесь, смотри,— и он начинает загибать один за другим пальцы. — Во-первых, заработок, и денежка капает ежедневно — как часы! Во-вторых, чистейшее полноценное питание. В-третьих, непрерывный физический труд для мужчины — просто спасение,— он делает ударение на слове «мужчины» и добавляет по секрету: — Бабка моя от меня ночами уже отбивается — покоя не даю... В-четвёртых,— снова загибает он палец,— все болезни как рукой снимает. К шестидесяти, ещё в городе, помню, то тут, то там начало покалывать; теперь — как рукой сняло: нигде ничего...

Затем он начинает делать передо мной хорошо продуманный расклад нашего будущего хозяйства: стадо в десять дойных коров, бык-производитель, пять-шесть бычков на откорм; купить культиватор, трактор, грузовичок; распашать пять гектаров земли под пашню — под овёс и ячмень; построить ферму, построить теплицу... — А теплицу-то зачем? — спрашиваю. — С ней мороки много.

— Не-ет, нужна! — убеждённо возражает он. — Смотри, что получается: летом работы много — покосы; осенью — уборка; зимой тоже хлопот полно. А весна, вплоть до начала огородов, выпадает: работы мало. Вот и займёмся: лучок зелёный, редиска, укропчик. С марта по май столько их можно вырастить, на даровом-то навозе,— весь город завалим зеленью!..

Как ни заманчивы его идеи, приходится отказываться.

— Ну хоть найди мне тогда напарника стоящего,— просит он.

Я пообещал. И теперь, где только услышу, как здоровые на вид мужики ноют: работы нет, или платят плохо, или вовсе не платят,— я им сразу: «Есть прекрасная денежная работа!» — и начинаю рассказывать про Андреича. И вижу, как физиономии кривятся, и на меня смотрят, как на дебила, а то и вовсе заявляют: «Да ведь там же работать с утра до ночи надо!»

Верно: единственное, что там надо,— это работать.

Потому я и очерк этот затеял: найти Андреичу компаньона, хотя бы и через печать. Пожалуйста, кто хочет — он ждёт! Адрес простой: Красноярский край, деревня Таловка,— а там Андреича не только каждый взрослый — каждый пацан, каждая жучка знает.

Андрей Антипин

## Смола

Рассказ

В первый погожий день ранней весны, особенно ценный на Севере, солнце над тайгой преломится как-нибудь так исключительно, что отпотеет и прожжёт мёрзлый слежалый снег небольшая коринка, оставшаяся при дороге от проползшей за трактором лесины. И тогда в старом сером щелястом заборе, смертно наклонившемся и подпёртом частыми кольями, вдруг «вспыхнет», вдруг «заиграет», вдруг «загорится» морёными наплывами какая-нибудь одна-единственная доска, против тления и угасания напитанная красной лиственничной смолой. И такая она делается янтарная и сквозная, что, кажется, посмотреть через неё — всё равно что приблизить к глазам луковую шелушинку. Назавтра зачернеет, понесёт ветром, снегом, рваным печным дымом — и снова ветхий забор, шершавые от вгрызшейся пыли доски, сплошной мёртвый хлам. Но ты-то знаешь, что это не так.

Об этой доске со смолой я думаю, когда вижу на реке Пузырька.

Пузырёк — мой сосед по границе, которые издавна намечали между своими удами ленские крестьяне, промышлявшие зимой налимов, и из года в год эти речные границы строжайше соблюдали, а когда оставляли своё ремесло, то те, кто приходил им на смену, по уговору с бывшим владельцем или на правах наследования получали реку в виде своеобразных угодий, размежёванных незримо, но зато и незаблемо. Из числа местных мужиков таких властителей сопредельных рыбацких территорий теперь несколько. О Пузырьке следует сказать особо. Сперва, конечно, о его прозвищах, которых три. Основное потому, что занимает на водку одной и той же фразой: «Выручай на пузырёк!» Суслик: это смалу и порядком забылось, а пошло, скорее всего, от физических признаков. Но самое комичное — Черномырдин: так его, не объясняя причин, окрестил дядя Милентий, ядовитый на язык рыбак, да к тому же выдвинул гипотезу, что в детстве Черномырдин ел дерьмо — отсюда и везение. И вправду: у всех глухо, а Пузырьку фартит, прёт с реки рюкзак, будто набитый мягкими поленьями; поневоле взмолишься: «Да хоть бы ты загулял!» Чтобы понять, почему от Пузырька ждут, что он запьёт и заморозит крючки, надо вспомнить его жизнь.

После армии он, как почти все деревенские, работал в совхозе, и даже была напечатана в районке фотография, на которой молодой Пузырёк и другой наш мужик, Валентин Михайлович (которому под



этот Новый год откромсали ногу), поднимают в честь конкурса пахарей Трудовое знамя с профилем Ленина на остром от ветра треугольнике. Хорош ли, плох ли был Пузырёк как пахарь, теперь не важно, а всё же худо ли, бедно ли, но корпел за общее дело, скорее всего — и не подозревая об этом, а всё-таки жил и трудился — да, деталью в основном, безжалостном к деталям, механизме, но, верую, лучшей деталью, одной из тех, которые ни сами не сбоили, ни других не раскачивали, а, наоборот, изо всей мощёнки крепили весь механизм и не давали ему сокрушиться, и было это незаметное, но великое и мучительное подвижничество, каким от роду родов стоит русская земля. Из тех лет, когда Пузырёк был ей нужен, на памяти только то, что этот маленький невзрачный дядька с тонкой шеей, похожий на беспутного подростка, которого вышибли из школы, едва ли не всегда ходил с оплывшим, как раздавленная сливовая мякоть, синяком под глазом, потому что кто-то неведомый раз за разом стрелял в него с плеча. Стали, что ли, в сеялку зерно насыпать, да Пузырёк выронил мешок, или кого-то перепил в честь красной даты, кого перепивать нельзя, и этот, кого перепили, оскорбился, полез бодаться. И мужики, черти, не мешали, обступили кругом и глазели, а кто-то, наверное, запрыгнул на ГАЗ-53 и комментировал. И Пузырёк, чтоб не упасть в грязь лицом, тоже стрелял, но кулаки были мягкие и ватные, парусили по ветру... Так они жили-были: то пашут не за награду, то пьют до упаду, а то пластаются за комбайнами. Стоят на общем снимке в обнимку. Потом сама Москва выстрелила залпом, и мужиков разбросало. Один мёртвым остался, второй в город смотался, а третий залёг на дне воронки и время от времени высовывает на палке шапку: не перестали по своим?! Шапку сбивает ветром.

Нынче жизнь Пузырька такова: всё он пьян или с бодуна и дома конфликтует со своей бабой, о чём, как водится в деревне, многочисленные свидетельства. Когда попадает шлея под хвост, он не шатается по посёлку, а проворно обегает его из конца в конец, иногда не по разу за день, и всё равно что-нибудь да смышкует. Клепашь, например, в ограде лодку, нагнулся, чтобы взять молоток, встал через миг, а тут, глядь-поглядь, Пузырёк! Навалился на штакетник, как только подошёл. На самом деле он уже давно наблюдает, только ты его не замечал. Сейчас спросит двадцать рублей! Он всегда просит на «Боярышник» — ни больше, ни меньше. Глаза мутные; рот накость; ворот свитера распялся, и видно бледно-красное, как у ошипанного гуся, горло, всё в пупырышках и морщинах. Жалко его, и зло берёт, и надоел хуже горькой редьки, но и отказать нельзя, сославшись на отсутствие денег. Неудобно врать этим людям, потому что у них отняли всё, чем они жили, а жить по-другому они не умеют. Тебе легче. Ты сподобился, как паршивый пёс у булочной, который сунул нос в приотворённую дверь, откуда самый запах. И дышит, дышит! Этим людям так нельзя, они гордые. Они и просят от безысходности,

а то бы и век тебя не знали. И вынесешь, и сам подашь в руку. «Чтоб отвязался!» — сужаешь область боли. И скорее выпроводишь, якобы работы невпроворот. И Пузырёк всё-всё поймёт, сожмёт мелочь в кулаке и, ничего не сказав, — на всех парах к магазину, но, зайдя за угол, с тревогой пересчитает. Всё точно, шире шаг! Но это недоверие к тому, кто выносит, эта нелюбовь к дающему — не из-за чёрной неблагодарности, в которой нас во все века обвиняют фарисеи и книжники, а из-за глубокой и выстраданной бедными людьми обиды на тех, у кого эти деньги, несмотря ни на что, есть, кто призывал рабочего к станку, крестьянина к сохе, а сам, курва, жил несколькими парами рук, и когда одна пара стала не нужна, он поправил очки и преспокойно вынул из футляра другую, нужную и кормную сейчас. И только у народа одни руки! Ваши деньги, очкарики, он, конечно, пропьёт, но не в этом дело.

Оттёртый на обочину, Пузырёк спасается как может. Сын с дочкой в городе при грошах; жена на пенсии, а ему не вышел срок. Скот он, как и большинство в посёлке, давно зарезал: на всё рыночник накручивает дозволенные тридцать процентов! В область привезти те же комбикорма — тридцать, в район — тридцать, в районную деревню — ещё тридцать... В копейку! Из прежнего деревенского неизбывен только огород. На лето, правда, Пузырёк нанимается на пилораму. Рано утром, как и другие мужики, курит на перекрёстке возле сельсовета, ждёт вахтовку. И уезжает на весь день. Вечером, отжатых, молчаливых, их высаживают тут же, до следующего утра. Но дирекция рассчитывается неисправно, сообразно с отводимыми лесными делаянами, а когда производство застаивается, командирует народ по домам, чтоб не платить дарма. И надолго Пузырька не хватает: его надо оцеплять сплошным обручем. Нет — так он отвяжется. Или лучше на реке будет, а то в лесу. В лесу он собирает грибы и ягоды, но в заядлых не значится, скорее, переживает очередную репрессию, последовавшую за тем, как в женином кошельке была обнаружена недоимка. Собачонка при нём на вооружении, тоже пропитая и прокуренная, всю дорогу выступает на защиту хозяина: гав да гав! Но больше берёт на себя. Топнешь — показывает Пузырьку, куда убежать. Пузырёк не побежит: у него полное ведро груздей! Сухих, с землёй в отливающих синевой раковинах и с налипшими хвоинками. Весел по случаю, козырёк сползшей на уши бейсболки задран, как щиток на маске электросварщика, рукава хлопчатобумажного пиджака раз-другой подвёрнуты, голяшки резиновых сапог хлябают под коленами — во всём Пузырёк мал. С удовлетворением глядит на твою руку кренделем, продевшую дужку пустого ведра.

О том о сём:

— Рябчиков-то видал?

— Нет.

— А я спугнул выводок! Надо завтра с пулемётиком прошвырнуться...

Вечером едет на мотоцикле «Иж-Планета» с дощатым коробом вместо коляски, упразднённой за ненадобностью; кончик титанового советского спиннинга раскачивает огромная тяжёлая блесна, подвешенная к верхнему пропускному кольцу. Ноги земли не достанут! Спиннинг или удочка для Пузырька если не баловство, то пережиток древнего, некие первобытные орудия, и уповать на них нечего. Всё равно что сжинать рожь серпом. Ничего как будто диковинного, дело не совсем забытое, но наш мужик с этим в поле уже не выйдет. Он испорченный — механизированный, с социалистической размашкой. Ему комбайн предоставь. Покидать-то блесну или крючок с червяком он покидает. Но это так, для видимости. Ближе к ночи сдёрнет с короба брезент, а под ним сморщенная надувная лодка и китайские сети... На рассвете, жёлто горя фарой, спешит проверять, на всякий случай — тоже для понта, да и затем, чтобы другой раз не ездить, не жечь бензин, которого на два пальца в баке — везёт в коробе пару алюминиевых флаг под воду. Перед спуском под угор задувает фару: чих-пых в темноте! Бряк-бряк — флаги... Иногда случаются проколы: завоет в тумане, аки волк, продлится на воде дымчатый луч прожектора, высветив, словно на клубном экране, щетину тальников, мерцающую от капель сеть и пересравшегося мужичка в резиновой одноместке, и вот уже, бросив концы в воду, Пузырёк шибко чешет через Лену со скоростью двух выгребаящих реку маленьких пластмассовых вёсел, а за ним тем энергичнее — катер государственной рыбинспекции...

С замерзанием Лены Пузырёк переключается на уды. У него два участка — по оба берега. Раньше на этих местах рыбачила, наверное, дюжина мужиков, в том числе старики, которые наследовали эти берега ещё от отцов, а те от своих отцов. Но и мужики, и старики умерли, потому что это время срыло всех — и сильных, и слабых. И Пузырёк колотится один, как исчисляющий последнее исконное метроном. Сообщить, что он выходит на лёд первым, будет мало. Он и живцов запасаает прежде всех, ещё ранней осенью, по открытой воде, зачистив сквозь облетевший ольшаник на речку Казариху. Там, в тихих заводях, высланных жёлтыми листьями, он караулит корчажкой гольянов — небольших рыбок из сорных пород, с краплёной синевой на боках, с чёрной или светло-коричневой, судя по характеру дна, спинкой. Или плюхнет корчажку повыше моста, а сам сядет на угор и ждёт, когда сплывутся на размокшую хлебную корку. Добывает сотни три-четыре, учитывая потери, неизбежные при хранении. И всё равно не хватает, в феврале или марте снова спешит на Казариху, дырявит лёд промёрзших ям. Но до этого ещё далеко, а пока шуга дёрнулась раз-другой... и встала, заложив Лену на все засовы. Пузырёк скорей на лёд! Из-за спины, словно огромные стрелы из колчана, торчат вырубленные в калтусе вешки с привязанными крючками. Назавтра с утра — на реке. Первую неделю после ледостава налимы не просто ловятся, а «идут». Пузырёк, проверив крючки и переменив

одежду — шубенки на варежки, ушанку на «пидорку», драные бахилы на парадные суконные боты системы «Прощай, молодость!», — ходит с авоськой и продаёт. Из уцелевших учреждений самый верный прибыток дают клуб и сельсовет, да Пузырёк ещё и скостит десятку в сравнении с городским рынком. Сто тридцать за «кило»! Домой только через магазин... Шпана, бывает, скучкуется к ночи, пройдёт с саночками сверху вниз — и не столько ограбит, сколько разроет и заморозит лунки, которые следует засыпать снегом. Пузырёк на другой день патрулирует по посёлку, гоняется за воришками:

— Да я же вас вычислил по следам!

Зимой Пузырёк не только рыбачит. Иногда прокладывает за ЛЭП лыжню и настораживает капканы на соболя — штук пять-шесть. Ставит под деревом на толстую жердь, вырубив на её конце площадку под капкан, который привязывает к наклонённому перевесу — гибкой деревинке, укреплённой выше жерди на стволе дерева таким образом, что при метании попавшегося зверька капкан соскальзывает со стопора, и деревинка, перевесившись тяжёлым комлем, другим концом, а именно лёгкой вершиной, вздёргивает добычу, делая её недоступной для мышей и лис. В качестве приманки Пузырёк, не мудрствуя лукаво, гвоздём на сто пятьдесят прибывает к жерди обрывок дохлой курицы. И, по всему, ничего не ловит, но виду не подаёт. Так, возвращаясь из леса — румянец и снег, гремучая судорога лыж да скрип кожаных ремней, в которых резиновая галоша бахил точится, как жучок под корой валежины, — Пузырёк, если он в это время на реке, обязательно подождёт, детально осмотрит с ног до головы, главным образом сосредоточась на брезентовом рюкзаке с заскорюзлыми от смёрзшегося пота ляжками, объём которого может послужить Пузырьку при распознавании им типа и размера добычи, и только затем спросит: — Ну, откуда идёшь?! Чё несёшь?!

И подробно: сколько капканов, скольких соболей уже взял, где лазишь, в каком распадке зимовьюшка, есть ли на участке диетическое мясо в виде изюбрей и сохачей, и вообще, резонно ли ему, Пузырьку, прогуляться по твоей лыжне...

Всякий раз, когда увидишь Пузырька, который опёрся на черенок пещни и курит, скашливая на снег, всё закипит в тебе, и уже обложишь себя за то, что не перешёл Лену в другом месте, а Пузырька за то, что стоит, сломав лыжню, и упорно дожидается вестей. Налима заблаговременно снял с крючка и спрятал, рюкзак раскорячил на снегу как-нибудь так, чтобы нигде не выпирало и выглядел совершенно пустым, все улики уничтожил — кровь возле лунки запорошил снегом, а руки и лезвие складного ножа вытер о рушник. И вот это, что подготовился, а тебе уже свернуть нельзя, изозлит в край! И уже зарядишь тяжёлый крупный мат, чтобы с честью ответить любопытному Суслику, пересыплешь просветы между словами неким общим смыслом, дабы сидело ту же и выстрелило кучнее, и даже пожалеешь Черномырдина:

сейчас его убьёт наповал, а он и не знает! Но лишь только Пузырёк заговорит — и всё в тебе словно ветром задует, хотя ничего особенного в речи Пузырька нет, а, однако же, остановишься и легко отвечаешь на самые склизкие вопросы и даже, удивляясь себе, сообщаешь что-то сверх сказанному, то, о чём тебя никто не спрашивал.

Пузырёк, видя такое расположение, тоже откроется всей душой и не моргнув глазом соврёт:

— Я-то тоже задавил в ельнике трёх! Сра-а-азу!

Намекает, что в трёх из шести поставленных с грехом пополам капканов при первом же обходе оказались соболя.

Или начнёт вспоминать, как белочил вот по этой сопочке. Ну, шёл так один раз, добыл два десятка белок и соболя, каких теперь нету, а под вечер собаки облаяли в распадке быка, да здорового, метра два-три в холке! Понужнул его, понятно, в глаз, а из-под хвоста вышло, тут же освежевал; шею, грудинку и сердце с почками-печенью поднял на жердяной чумок, сотворённый на скорую руку между деревьями, на некоторой высоте, а голову и разрубленную тушу накрыл шкурой. Назавтра вернулся с саночками — ни кровинки, ни шерстинки...

— Сука у меня текла, а за ней по следу шли от посёлка девять кобелей! Ка-ак я не знал?! Только потом вычислил... — Пузырёк отсекает рукой. — Всё-ё подобр-р-рали! Даже снег до земли слиза-а-али! Спасибо, чумок выручил...

Вежливо — чтоб не оскорбить взаимной симпатии — просветишь потёмки Пузырьковой души наводящими вопросами, ещё раз убедишься, что врёт, и сам сменишь пластинку. Посетуешь, например, что нынче капканы-то запретили, аж из самой столицы бумага пришла, — так это он пропустит мимо ушей! Или посмотришь на лыжи Пузырька — две небрежно обструганные доски с едва задранными носками. И Пузырёк, перехватив твой взгляд, тоже вперится в лыжи, но уже в твои, дикие и лохматые:

— Из чего сделал?

— Из ёлки.

— Кла-а-асные!

Не нужно принимать за похвалу. Такого же мнения Пузырёк и о своих скороходах, и когда ему напомним, что раньше он прятал лыжи возле дороги, там, где своротка к реке и первой уде, а нынче уносит домой, перекинув через плечо, Пузырёк позволит себе необходимое уточнение:

— Да-к это старые были, чуть ли не мои погодки! Ещё батя ходил! А эти-то!

И тогда догадывайся, что зарой Пузырёк новые лыжи в снег — всю округу вдоль и поперёк проскребут граблями, хотя, сказать по чести, воткни на лобном месте — никто не тронет, разве что какой-нибудь полоротый, проезжая на «Беларусе», зачекерует и утащит на дрова...

Но лес лесом, а Пузырёк прежде всего жив рекой.

Во всём, что касается рыбалки, в особенности подлёдного лова налимов, он придерживается неписаных правил, вместе с Леной перенятых им от стариков, хотя теперь и эти правила, и эти старики мало кому памятливы. Пузырёк не преминёт, скажем, заткнуть тебя за пояс, если наживишь свою удочку слишком близко к его крайней пограничной, но сделает это не обидно, а на том же дыхании, с каким минутой ранее снял верхонки и развернул на морозе карамельку: — Чё-то границу не соблюдаешь! Соблюдай-ка!

Или повадится ловиться мелюзга, жалко на такую изводить живцов, все ходят от удочки к удочке, как трезвые на пиру, никак в толк не возьмут, в чём причина, и только Пузырёк знает секрет:

— Такая ерунда раз в семь или шесть лет случается! Я уж давно заметил. Она, мелочёвка-то, или спускается сверху, или, наоборот, подымается, большие налимы ни хрена не успевают! Большой только-только подойдёт, а этот, п...дёнш, уже на крючке! И так всю зиму! А долбить-то всё равно надо, чё поделашь...

Пузырёк, атакующий Лену со дня образования заберегов и убирающий крючки незадолго до ледохода — все давным-давно закружились, и вдоль берега синеют отволгшие старые лунки с чернеющими штрихами вешек поперёк, — только в середине зимы устраивает передышку, исчезая с реки под вечер тридцать первого декабря и образуясь на ней снова и так же порывисто, как и пропал, уже после рождественских колядок, когда всё пропито и проедено, а по словам самого Пузырька, вдобавок и «про...бёно». Но это уже не тот Пузырёк, что был до Нового года, а результат его кустарной реинкарнации с помощью кочерги, которой хозяйка Пузырька выскребла мужа из-под стола, отряхнула, раз и другой стукнув о дверной косяк, напялила на голову ушанку, посадила на голицы — и пяткой под зад, чтобы при участии силы, ею произведённой, катился прямо и беспечно до самой матушки Лены. И вот уже, не прошло и полугодика, Пузырёк опять на реке! Бродит от лунки к лунке, худой и облезлый, как покинувший берлогу медведь. Если, конечно, можно вообразить медведя с пешней и лопатой, с рюкзаком за спиной, с окурком в зубах и в просторной, чем-то заляпанной в связи с последними событиями аляске со светящейся в темноте наклейкой «ВЧНГ», что есть «Верхнечонское нефтегазорождение». Сию справку Пузырёк приобрёл у вахтовых мужиков, когда шуровал им налимов.

За полмесяца, что «медведь» находился в рабочем отпуске, лунки промёрзли насквозь, и пешни уже не хватает. Пузырёк, постлав запасные шубенки, становится на колени и долбит из-за плеча. Голова его мотается от ударов, а со стороны кажется, что Пузырёк неистово молится. Пока выстеклит одну лунку, не раз размажет по лицу горсть шершавого снега. Но уж когда пешня прорвётся в пустоту, потянув всего, а в лунку брызнет вода и вешка отколется с ледяной перемычкой, то Пузырёк, обливаясь потом, с похмельным причётом: «Ох-ох-ох,

что ж я маленький не сдох!» — отчерпает из проруби последнюю, уже сырую крошку и, завершая первый круг своего адова возвращения, медленно возденет уду на всю длину руки и осторожно, стараясь не развалить, вынет на лёд мёртвого, размытого, как банное мыло, налима с белым брюхом: налима, вопреки известному мнению о рыбе, начинает гнить не с головы, а с живота, тугого от икры и печени. Вызволять из протухших рыб крючки Пузырёк считает за удовольствие ниже среднего и, прежде чем брезгливо отшвырнуть налима лопатой, с затаённым дыханием отрезает поводок, каждую секунду боясь облеваться. Крючок за зиму перегнивает в двух местах: на сгибе, где закреплён голян, и в ушке, к которому привязана нитка, и для повторного пользования всё равно не годится. И хотя ни крючок, ни тем более дохлый налима ни к чему, замороженную снасть Пузырёк ни за что не бросит, будет клевать до победного, пока не восстановит все свои уды, словно кольца, которыми сам себя подпирает. Вешек же у Пузырька — только у Таюрского-капитана больше. Попробуй-ка!

...И вот однажды иду в такую пору, высмотрев сеть, а Пузырёк сидит на моей лыжне, сдвинув шапку на затылок, и, по своему обыкновению, курит, только уже не сигареты, которым вышел расход, а сконструированную из окурков газетную самокрутку. Утирает шубенкой обветренное, ещё больше зачерневшее лицо. Глаза голубы. Но голубизна эта такая — не сплошь, а мазками, вроде сливок с раздавленной голубикой. Аляска на груди распахнута, как на мороз форточка. Дышит — весь...

То да сё.

Говорит, несмотря на похмелье и усталость, необычно живо и много. Лакает за выдохнутыми словами воздух. До самых пальцев сосёт самокрутку, подмазывая рассыхающиеся края языком. Не дослушав твоё, тут же — поперёк! Какое-то весеннее пробуждение, ярчайшая жажда высказаться. Как будто сто лет прожил на арктическом берегу, одинокий и ненужный. Или блудил в пургу по тайге, ломая за собой веточки, а там, глядь, чья-то лыжня, собачий лай и дымный вихрь за деревьями. Откровение души — вроде первой речной полыньи на выходе из долгой и муторной зимы: сверху ночной ледок, а под ним — а ну-ка! Нырнёшь с макушкой, да ещё и дна не проскребёшь. Одна ушанка чернеет поверху, как утонувшая мышь...

— В сеть-то чё попадат, нет?! — раскуривая новую самокрутку, залившимся криком допытывается Пузырёк, и весь он сейчас в этом неумении отладить звук, какое бывает, когда ломается голос и вдруг то пискнешь, то забасишь. — Чё-ё-ё молчишь?!

Сети ставят по первому льду, пока он тонкий. Продолбив майну — основную и большую прорубь, через которую потом выматывают сеть, дальше с заданным отступом ноздрят лунки поменьше, так что последняя будет там, куда придётся конец сети. Затем в майну просовывают длинную гибкую жердинку с привязанной верёвкой, равной длине сети плюс необходимый запас, и, будто стежки ведут, время



от времени прихватывая пальцами, проталкивают эту деревянную иголку от лунки к лунке, направляя из каждой специальной рогатиной, и когда достигают конечной проруби, поддевают жердинку за кончик и вынимают. Всё, верёвка пронизана от майны до противоположной проруби. Потом, потягивая за верёвку, стравливают сеть под лёд...

Работа нехитрая, руки помнят её с детства, так что закрый глаза перед сотней других работ — руки сами найдут нужную и возьмут. Но одному было хлопотно, к тому же и припозднился, вышел на промёрзший лёд. Да ещё, как назло, скрала напасть: то лёд двойной, то блуждающие обломки торосов, а то в спешке не размотаешь и упустишь вместе с мотовильцем уже протащенную верёвочку. В довершение ко всему, вероятно, чтоб уж совсем dokonать, хрястнул черенок пещни! Тут ещё Пузырёк, действуя согласно выработанному плану, то и дело поднимался из-за горки откиданного из проруби льда, словно из-за нарытой рядом с норкой земли, и застывал любопытным сусликом, с беспокойством контролируя мои перемещения и душевно желая, чтоб наступила какая-нибудь такая погода, когда бы ветром или чем-то ещё подуло и принесло с другого берега Лены самую суть совершающихся там событий, о чём спросить открыто, крикнув, например: «Ты чё там опять выдумывашь?!» — он не решался ввиду чрезмерности расстояния, а я всё время молчал, стиснув зубы, или говорил себе под нос такие вещи, зная которые обидчивому Пузырьку было ни к чему, ибо смысл их прямо адресовал все мои страдания энергетическому и, разумеется, разрушительному влиянию соседа.

Ну, с грехом пополам управился, однако с того дня на всякий случай решил обходить Пузырька за километр. Пузырёк, напротив, искал встречи, но найти не мог.

Волнение его было понятно: высматриваемая сеть в Сибири если не верная и не мгновенная удача, то её бодрящее и не объяснимое никакими словами предчувствие, которое перемальвает всё: и пот, и мороз, и незадачи, и самое долгое и часто напрасное ожидание. Однако удача удачей, а пойманная рыба для северной деревни значит всё ещё много. Поэтому иные, такие как Пузырёк, наводят мрак на свои рыбацкие секреты, а чужие, напротив, норовят выведать и взять в оборот. Но как не из жадности, а единственно из-за языческой боязни глаза сторожат своё ремесло, буквально, например, при встрече на реке зажимая в кулаке самодельную мушку, от которой теперь чумает ленок, так и выслеживают других вовсе не за тем, чтобы вспугнуть фарт, а, опять же, с одной лишь надеждой — пополнить собственный ларец ещё одним бесценным знанием, отложив его в голове поверх других, как в несколько слоёв солят рыбу...

И вот Пузырёк дождался! И я, хотя втайне и костерил его, откровенно пожаловался, что несколько раз сети приходили пустыми, а нынче поймалась мелочёвка, из которой рыба — только двухсотграммовый хариус.

Спрашивает, крупную ставлю или мелкую. Советует крупную.

— Я один год вот здесь, напротив Николай Львовича, ставил, как и ты, ельцовку — и тоже ничего! Ну, воткнул деревянную, из толстых ниток — на шестьдесят или семьдесят, я уж забыл! — сра-а-зу смотали кубарем! Выпутал: два тайменя. Они же парами ходят...

Вдруг даже не советует, а со страстью убеждает:

— Поставь-поставь, дело тебе говорю!

И, глядя прямо в глаза, дразняще смеётся, только отомкнутый рот и видеть, а в нём белый с похмелья шмат языка:

— Я-то, как ты, не выёживался, прорубь продолбил — и всё!

— Как это?! — всё поднимается торчком, и главным образом — прозвища Пузырька.

— А вот так! Кинул бутылку — и готово!

Вымотать душу из северянина — всё равно что из проруби сеть: то же нарастание кровообращения в жилах по мере приближения последних метров, которые тяжелы и парусят ещё не зримой рыбиной. Но когда вымотаешь — что же? Окажется, что этот некорыстный русский мужичок, мимо которого пройдёшь и не заметишь, ведёт вот какую политику: выдолбит майну на умеренном течении, таком, чтоб не «ложило» снасть, бросит в прорубь налитую водой пластиковую бутылку, привязанную к концу сети...

— Не забудь второй конец зарочить! — давится, не может ни проглотить, ни отхаркнуть, как будто навязло на языке. — А то у меня так одну сеть утратало!

Неуверенно возражаю, привожу доказательства от противного.

— Как ракета полетит! — отменяет Пузырёк.

И, внезапно осёкшись, переводит взгляд на едва початый ряд нераздолбленных лунок. Глаза между тем всё ещё сверкают, но уже так, как бывает на кончиках мартовских сосулек, когда весь день текло, а под вечер, вместе с приморозом, замолкло, однако отвори форточку и увидь, что прямо над тобой дрожат живые капли.

— Видишь, какая у тебя удача?! — качает головой, словно хочет стряхнуть эти капли на снег, уверить всех и самому увериться, что и не было никаких капель, а так, нахлестало ветром. — Наверное, и спать не будешь!

— Уд-то у тебя ещё много? — спрашиваю немного погодя, утишая в себе подлую радость от этой «удачи», избавляющей впредь от многих мучений и бесцельной траты времени, но и чувствуя всю лживость своего якобы «сострадания» к чужой судьбе.

— Ой, и не говори! — вздыхает почти мученически. — Да я выдолблю все, мне один хрен делать нечего...

И, поковыряв носками бахил, суёт ноги в стоптанные стропаные ремни, подхватывает пешню и лопату и идёт, отступаясь на своих косолапых лыжах и тихо матерясь...

И ты, словно расщеплённый молнией на две половины: ту, которой наплевать, и эту, которой отныне и до конца больно за всё, что

творится под этим небом,— внезапно очухиваешься этой первой половиной и, срачивая её со второй, даже не вспоминаешь, потому что никогда не помнил этого, а как будто выносишь из яркого огня, образовавшегося за чудесным разрядом, что это никакой не Пузырёк был перед тобой, не Суслик и тем более не Черномырдин, а дядя Витя, бывший совхозный механизатор и даже твой однофамилец, которому ты запросто «тыкаешь». Нынче ему на пенсию — и слава Богу, потому что последние пятнадцать-двадцать лет сводит концы с концами, ходит в старом и заплатадном, частенько отвязывается и, окликая в дороге, унижительно клянчит: «Займи на пузырьрёк!» — а когда отказывают или даже прогоняют, отстаёт и плетётся позади с таким видом, как будто не дали со стола красное яблочко. Случается, конечно, что занимаешь, но не совсем, как оказалось, от чистого сердца, потому что много в твоём мнимом добре разных примесей, нужных в первую очередь тебе; да и даёшь ты, надумав всякий раз что-то сверх самого займа, возводя на этом некую народолюбивую философию, благоприятствующую, опять же, только тебе, между тем как самому народу от неё ни холодно, ни жарко; да и, сказать по совести, не сделал ты ничего для этого народа, помимо того что скрепя сердце потряс копилку и выручил одного-единственного страждущего, и когда круг замкнулся, он, этот страждущий, разломил надвое своё, драгоценное и последнее: бери, пользуйся на здоровье! — и ничего не попросил взамен, не взял при этом сам от тебя, не спросась, не нагрузил свой поступок каким-то выгодным только ему образом мыслей и поведения, равно как вообще ничего не сотворил кроме, а явил, так сказать, единственное в своём роде и цельное, как монолит, своё отношение к другому человеку, которого прижала нужда, а у него, братцы, «чисто случайно» отыскалось чем помочь.

И ты стоишь, как будто из зимнего ручья попил, и с захлёбывающимся, перебивающим самого себя восторгом постигаешь, что нет и не будет завершения этому народу, который поёт, и плачет, и скачет через палочку на краю, но умеет остановиться и опохнуть такой искренней нерастраченной красотой, какую ты и не подозревал в русском человеке и какая милосердно дарует тебе веру в его нравственное бессмертие, несмотря на всё, что ждёт его впереди.

И когда ты обо всём этом подумал, когда новое знание о жизни и человеке ухнуло в тебя потрясающим космосом, за которым не видно края и даже неба от слёз не видно, ты вдруг, ещё сам не зная, за что точно, ощутил горький стыд перед этим простым человеком, как бывает совестно за хлеб с маслом, если заходят с улицы, а в животе от голода бурчит. Может быть, завтра дядя Витя раскается в излишнем откровении и опять надолго засунет душу в верхонку, но этот миг расположения человека к жизни и людям был, а значит, была и есть душа в человеке.

Владимир Шпаков

## Капитанский чай

Рассказ

I.

Страна была большая.

— Пять часовых поясов! — говорил кандидат наук Половецкий и, узнавая у лётчиков время, на каждом поясе переводил часы.

«Почему не перевести сразу на пять?» — думал я, глядя в иллюминатор на большую страну. На третьем поясе догнало похмелье, и я отправился к стюардессам за лимонадом.

В Сибирь проводили от души. Катька Макарова редела, будто солдатка, провожавшая в рекруты на четверть века, Витька же наставлял: «Главное, с командой сдружись! Капитан — фуфло, он тебя не касается! А команда — это всё!» Побывав на Енисее годом раньше, он вспоминал об огромных осетрах, нескончаемом полярном дне и сибирских женщинах. Последняя тема выжимала из Катьки столько слёз, что водка в стакане делалась ощутимо разбавленной. А я уже мысленно стоял на палубе, слышал плеск реки и цеплял на крючок осетра размером с моторную лодку, не меньше. «Нет там никаких удочек! — объяснял Витька. — Это другой мир: и снасти, и всё — *другое!*»

— Весь лимонад выжрали... — пробурчала стюардесса, когда студенческая братия двинулась к выходу.

— Выбирайте выражения! — с достоинством возразил Половецкий. — Напитки входят в стоимость билета!

Енисей напомнил Неву: такие же двухпалубные суда теснились у Тучкова моста, когда открывалась навигация на Валаам. Названия у них были музыкально-географические: «Рубинштейн», «Бородин», «Литва», «Латвия»; лишь трёхпалубный красавец «Антон Чехов» имел отношение к великой русской литературе.

— Эх, попасть бы на этот... — проговорил кто-то над ухом.

А мне вдруг захотелось пива. Распределение по судам, полагал я, дело небыстрое, так что можно прогуляться по городу Красноярску.

Люди были те же, только реклама Московской Олимпиады (прошедшей год назад) говорила о замедленном сибирском времени. Отсутствие пива тоже о чём-то говорило. Когда же я вернулся, незанятым остался только «Композитор Калинин».

Пока я заполнял бумаги, капитан Ледовский держал речь: мол, интеллигентные кадры нужны позарез, матрос-студент сцементирует

команду, направит в нужное русло... Я кивал, хотя плохо представлял цементирующую роль. А капитан вдруг спросил:

— Выпиваешь, наверное?

Я промямлил что-то типа: по праздникам.

— Понятно. Только праздников тут не будет. Будут трудовые будни.

Мелькнуло: «Туда ли я попал?» Полчаса назад, подводя меня к трапу, Половецкий озабоченно говорил:

— Не хочется посылать тебя на этого «Композитора». Нехороший у него, знаешь ли, репертуар.

— В каком смысле?

— Тут весь экипаж — алкоголики. А ты и так на волоске...

Кандидат намекал на моё подвешенное состояние: то ли я учился, то ли был исключён — ясности тут не имелось. На последнем партбюро Половецкий с трудом отбил для меня Енисей: мол, пусть практику пройдёт, тогда и решайте. Теперь он, наверное, жалел о непродуманной инициативе.

— Только мест больше нет, так что не урони честь...

Я обещал не ронять, но вот начальник сам делает внушение! Бумаги были заполнены, Ледовский хрипло прокашлялся и посмотрел на часы.

— Ладно, капитану пора чайку попить. А ты иди устраивайся.

В моей каюте сидел некто в оранжевом спасательном жилете. «С чего б это? — подумалось. — Разве уже тонем?» А незнакомец пробормотал что-то насчёт «калыма». В лице у него проглядывала азиатчина, и второй мыслью было довольно дикое соображение: может, он выкуп за невесту зарабатывает?

— Аникин, — протянул руку незнакомец, — электрик.

Узнав, что я студент, электрик полез за рундук и извлёк оттуда бутылку с ядовито-зелёной этикеткой.

— Что смотришь? Питьевой. По сравнению с вьетнамской — нектар!

Спустя полчаса разъяснили: «калым» — это груз, который хакасы переправляют водным путём в Норильск. То есть возят помидоры в ящиках, причём таскает их на борт палубная команда.

— А таскать как? В жилете! Почему? Потому что там пенопласт кубиками, и ты хребтину никогда не натрёшь! Так, это первый урок студенту...

Он налил следующую порцию, я же, предчувствуя очередной ожог гортани, спросил:

— А вьетнамская — намного хуже?

— Отравы! — убеждённо ответили. — И градусов никаких!

— А как тут вообще — с употреблением?

Аникин многозначительно усмехнулся:

— Это второй урок. Запоминай: на Енисее суда делятся на два типа: «литроходы» и «бл...возы». Ты попал на флагманский «литроход»!

— Да? А которые возят этих?..

— Бл...ей, что ли? Ну, туда тебя не возьмут! — он кивнул на иллюминатор. — «Антон Чехов» — единственный и неповторимый бл...воз Енисейской флотилии!

Аникин не знал, что двое из наших всё-таки умудрились устроиться на фешенебельный лайнер австрийской постройки (говорили, его спускал на воду сам канцлер Бруно Крайский). Хотя меня, в принципе, статус «Калинникова» устраивал.

Смущал лишь капитан: при встречах он строго на меня поглядывал — наверное, чтобы я не забывал о цементирующей роли. Старпом, напротив, был компанейский, представился как «страшный помощник» и засмеялся своей же шутке. В его внешности сквозило что-то легкомысленное, плейбойское, и я удивился, когда Аникин сказал: — Ты с ним поосторожней. Он, конечно, по бабам больше, но — себе на уме.

Непосредственным же начальником был боцман Кузьмич, кряжистый мужик с головой как бильярдный шар. Меня он с ходу «выбросил за борт», то есть заставил подновлять название судна, держа на верёвке, как альпиниста. Обводя синей краской фамилию, я спросил: — Кто такой Калинников? Моцарта знаю, Бетховена, Глинку... А этот что сочинил?

Верёвка опасным образом ослабла, затем сверху пробормотали: — Моцарт, шмоцарт... Хуля вас таких присылают?

До вечера я ни о чём не спрашивал; когда же пришла хакасская фура, сразу забыл о музыке. Сопровождающий отбирал добровольцев, как цыган лошадей на ярмарке, разве что в зубы не заглядывал. — Пьяный? Мешки с картошкой грузить... Трезвый? Я спрашиваю: трезвый? А ну дыхни! На помидоры!

Поскольку помидоры оплачивались дороже, я жалел, что тяпнул аникинского спирта. Тем не менее мы оба проскочили, и боцман навалил на спину первый ящик.

Не знаю, как на Востоке зарабатывают выкуп за невесту, но таскать ящики тяжелее тебя самого — точная каторга. Выручали лишь спасательный жилет и аникинская арифметика, когда электрик, идя навстречу, считал:

— Три... Шесть... Тридцать девять...

Занести на борт ящик стоило три рубля. И пусть хребет трещал, а пенопласт крошился, ты знал, что не зря взбираешься по трапу и кантуешься в проходах. Что-то тут было от счётчика такси, только в обратном смысле, и когда прозвучало финальное: «Сто шестьдесят два», — я не поверил ушам.

— А ты говоришь — Моцарт! — пробурчал боцман, отдавая мою долю.

Глазам я тоже не верил: четыре стипендии за вечер! А ещё столько же ожидало в Дудинке!!! «Сибирь стоит мессы...» — переиначилося слышанное про Париж, хотя цитировать такое Кузьмичу, конечно же, не следовало.

Деньги портят человека. Сухая теория, однако, не шла ни в какое сравнение с вечнозелёным (надо понимать — хвойным) деревом жизни, что расцвело на «литроходе» ещё до отплытия. На дебаркадер залетали такси, унося членов экипажа в вечерний город, а официантки кричали из-за двери склада:

— В очередь, уркаганы!

«Уркаганы», то есть механики, электрики и матросы, толкались в коридоре, пока не выскочила ресторанный директриса, поджарая и длинная, как кочерга, и не наложила на торговлю вето.

— Так всё выжрете!!! — визгливо кричала она. — Чем пассажиров поить буду?!

Вспомнилась стюардесса, обиженная за лимонад: когда это было? Безумно давно, в другой жизни, которая уходила всё дальше, дальше... Первые часы, надо сказать, я держался. «Уркаганы» двинулись на соседние суда, меня же ждала швабра: к отплытию, сказал боцман, «корабель должен блеснуть».

— Ну как? — заявился он через два часа. — Выдраил корабель?

— Корабли, — сказал я, — на военном флоте. А здесь — суда.

Кузьмич вытаращил глаза:

— Ну, бля, Моцарт... Корма засрана, а он выступает!

На момент отплытия «Калинников» всё-таки блеснул. Комсостав был в белых рубашках, при галстуках, и я оделся по-парадному. Провожающие махали платками, пока под марш «Прощание славянки» выходили на фарватер.

— Эх! — сказал Аникин, прокашливаясь. — Сколько раз слышал, а всё равно... Эх!

Азиатские скулы свела судорога, да и я был в соответствующем настроении. Какое евразийское сердце, так сказать... Какая птица долетит до середины этой реки... Мы, естественно, выпили за первый рейс. Потом ещё выпили, так что, явившись в рубку на смену вахты, я старался дышать в себя.

Но Ледовский, кажется, забыл о своих наставлениях.

— Ну и где эти мудашвили? — бормотал он, оглядывая берег в бинокль. — Икорки хочется... Ладно, пока не появились, чайку хлебнём!

В первом рейсе я не успел полюбоваться скалами, что стискивали Енисей на Казачинском пороге: мы выпивали на вахте, после — тоже, и красота бурлящей реки не вошла в мою душу. Зато туда вошло около литра крепких и разбавленных, а ещё кусок осетринного балыка, которым угостила боцманиха, по совместительству — буфетчица.

— Ешь, балык питательный, — сказала Александра Макаровна, — хотя мужикам лучше икру есть.

— Будет икра... — загадочно говорил Аникин. — Ещё не вечер.

Вечером вышли на корму; там уже топтался боцман, держа на плече увесистый молоток, а вскоре появилась боцманиха с кривым



ножом. «Рабочий и колхозница,— подумалось,— молот, серп...» Мы негромко переговаривались, вглядываясь в сумерки, когда стоявшая у берега моторка рванула в нашу сторону.

— Хорош... — возбуждённо бормотал Кузьмич. — Что твой поросёнок! Ну? Кидай!!

Из мешка, что развязывал браконьер, торчал могучий хвост. Когда на палубу звучно шлёпнулось серебристое веретено, Аникин отпрыгнул и заорал:

— Глуши!!

Боцман двинулся на осетра, как матадор на быка. Веретено билось, подпрыгивало, но тут «тореро» изловчился, нанёс удар по голове, и рыба обмякла.

— Кувалдометр... — ласково оглядел боцман своё орудие. — Без него — что без рук!

Вместе с осетром кинули сумку от противогАЗа. Подхватив её, Аникин вскоре вернулся с пивом, ящик которого хранился у нас под сланями.

— Браконьеры тоже люди, — сказал, передавая сумку. — У них тоже трубы горят. А рыба-то с икрой?

— ...о-о-ой! — донеслось издали — моторка стремительно уходила к берегу.

А на палубе уже делили: визигу — боцманихе на пирожки, рыби-ну — пополам, а икру... Когда из брюха вывалилась на целлофан грудa чего-то, похожего на чернозём, на корму заявился старший помощник. — Капитан просит не забывать... Мы и так нарушаем... Вот пакетик... — Чай без икры в горло не лезет, — тихо пробурчал Кузьмич, а громко сказал: мол, забирайте, конечно.

— Дурень ты, Кузьмич! — отреагировала Александра Макаровна. — Потому и толку от тебя по ночам...

За улов мы выпили. Ночью был ещё осётр — без икры и без начальства, и мы выпили ещё. Когда же выпивавший с нами рулевой не вышел на вахту, раскрылась тайна капитанского «чая».

Перед Атаманово на руль усадили меня. Освоив швабру, за рулём я нервничал, а тут ещё капитана в рубке нет!

— Левее бери... Левее, мудашвили!

Забежав, Ледовский выводил на створы, чтобы тут же исчезнуть. — Молодец, так и держи! А капитану нужно чайку попить!

Через полчаса он опять заявлялся.

— Вон на те створы держи! Не видишь? Ну, мудашвили... Чай стынет, а ты тут!

С каждым разом его движения делались медленней, а в рубке уже ощутимо пахло алкоголем.

— Ну как, не въехал в берег? — он прикладывал к глазам бинокль. — Право руля, мудашвили... Ещё право... Швиллимуда... Не понял, что ли?! Если говорю: швиллимуда, — значит, лево руля!

Его знание реки поражало: так ориентируются в комнате, в которой прожил не один десяток лет. Положив бинокль, Ледовский одёрнул китель.

— Вот, порядок... Ну, теперь-то капитану можно выпить чаю?!

На следующий день директриса отобрала у официанток ключи от склада, где хранилось спиртное. Мы толпились у её дверей, когда показался старпом с пакетом.

— Разойтись! Почему не на вахте?!

Через минуту он вышел в коридор, победно позвякивая, и направился наверх.

— Ну, старая вобла... — скрипнул зубами Аникин. — Пойдём!

Мы оказались на корме, где электрик стал бросать за борт деревянные ящики.

— Три... Шесть... Тридцать девять...

Счёт напомнил «калым», хотя было непонятно: при чём тут ящики? Потом объяснили: тара тоже имеет цену, ящик — три рэ. А материально ответственная — старая вобла, и пусть теперь локти кусает!

— Справедливость должна быть! — закончил Аникин, наблюдая, как в кильватерной струе пляшут штрафные рэ.

До вечера он что-то мысленно подсчитывал, а затем потащил меня к сухому складу. Забравшись под лестницу, он раскрыл внизу крохотную дверцу и сунул туда руку.

— Что тут? Кофе в зёрнах... Любишь в зёрнах? А, всё равно, до чего дотянусь!

Следом появились пачка питьевой соды, коробка печенья и, наконец, бутылка «Лудогорского».

— Еле достал... Говорил же на погрузке: к левой стенке ставьте!

— Но это же воровство... — смущённо сказал я. — Госимущество всё-таки.

— Ништо! — беспечно отозвался Аникин. — Это — имущество материально ответственного лица! И больше не возьму, потому что теперь всё по справедливости!

В рейсе я что-то снимал на фотоаппарат. Усваивал уроки, которые преподносил электрик, а ещё привыкал к великому и могучему, обогащённому словечками типа «ништо», где чудились одновременно жаргонное «ништяк» и философское «нигил».

На судне поневоле культивировали крылатые слова: в замкнутом пространстве выражение подхватывалось экипажем, как ветрянка или грипп. На «мудашвили», к примеру, я вскоре отзывался как на своё имя. «А ты говоришь — Моцарт!» — тоже попало в разряд крылатых, так что покойный, наверно, вертелся в гробу, как пропеллер. После драки в Туруханске вертелся, и когда забивали осетров, и когда капитан заиграл на гармошке... Надо сказать, фальшивил Ледовский безбожно, но упорно выводил: «Напрасно старушка ждёт сына домой...»

— Ну вот, — сказал Аникин, — теперь можешь падать под дверь его каюты.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю... Зачем-нибудь. Всё равно не заметит.

Алкогольный марафон завершали на набережной Красноярска, возле маломерного парохода с гребными колёсами.

— «Святой Николай», — прохрипел Аникин. — На нём Ленина в Шушенское везли!

Я оглядел мемориальный пароходик. Свежая покраска, табличка возле трапа и огонёк в каюте, призывно мерцающий в вечерних сумерках.

— Как насчёт зайти? — спросил я. — В Мавзолее каждый дурак был, а тут... А если ещё там выпить... Будет о чём рассказать!

— Тут многие заходили... — туманно отозвался Аникин. — Стол, койка. А чего ещё надо? Пару портвейна стóрожу — и балдей всю ночь! Не понимаю только: за что десятку мужику дали?!

Оказалось, несколько лет назад посадили музейного сторожа, который сдавал ленинскую койку парочкам, что фланировали по набережной в поисках укромного уголка. Аппетиты у охранника были скромные, дело — почти благородное, но срок накрутили на всю катушку, надо полагать, для острастки.

И всё же неведомый сторож что-то прояснил. Накануне меня выгоняли из института, рвали на части на партийных и комсомольских бюро и, сами того не желая, подвигали к пассивному диссидентству. Здесь же идеология терпела полный крах! Когда выпивали на траверзе «Святого Николая», почему-то вспомнился анекдот, где преподаватель истории партии мечтает: «Эх, уехать бы в этот Урюпинск!» Кажется, я в него уехал.

## 2.

Сибирь привлекала кадры со всей страны. Вербованные грузины и казахи, старики и молодые, гопники и начальники — катили сюда как в землю обетованную, что говорило то ли о необычности места, то ли о хитроумии вербовщиков.

— Ты думаешь, генацвале, все грузины апельсин торгуют? И хурма? Я водитэль первого класса! БелАЗ водыл!

Гога Мамаладзе распечатывал очередную бутылку «Саперави» и предавался мечтам: мол, устроюсь водителем в Дудинке и заживу по полной программе. И костромские Галя с Валей мечтали о такой жизни, только в Игарке, откуда прислал приглашение сам начальник стройки.

— У них детский сад строят, воспитатели нужны! Мы и рванули!

— Поехали в Дудынку! — предлагал Гога. — Замуж сразу беру!

— Обеих, что ли? — хохотали костромские. — Друга выпиcывай из своего Кутаиси, тогда поговорим!

Они сходили на берег, махали рукой и исчезали; я же продвигался в освоении новой жизни, с каждым рейсом набираясь опыта. Я играючи затягивал на кнехте петлю-восьмёрку, драил палубы и на полном ходу швартовал браконьерские моторки. Я узнал, что такое «самолов» (тыщи полторы крючков: зацепился — и хана!), как делают коктейль «Северное сияние», а однажды видел настоящих староверов из таёжного скита. Я понял, что в июне может лежать снег, а льдина с Тунгуски — пробить борт; и даже туруханским бичам, ломившимся на судно за выпивкой, давал теперь достойный отпор.

— Багром их скидавай! — орал боцман. — Багром!

Бичи прыгали с причала, срывались, но всё равно лезли, как татары на стены русских городов. Отбив атаку по борту, мы неслись в вестибюль ликвидировать вражеский прорыв у трапа — палубная команда играла роль дружины в этих «куликовских битвах». За Дмитрия Донского был Кузьмич, комсостав же служил засадным полком.

— Долби туруханских!! — кричал с лестницы старпом. — Выжимай на берег!!! А-а!!! Наша взяла!!!

Я принял странные представления о справедливости, когда стащить, к примеру, ящик яиц — незачем, так как хозяин груза наживается на вербовке бездомных.

— Видал эту ряху Потапенко? Он яйца везёт, а ещё десять бомжей! На нефтеразработки продаст, в Туру! Нет, надо ему жизнь подпортить...

Потом работорговец Потапенко, толстый и потный, искал ящик по всему судну.

— Пятьсот! Пять сотен яиц, вашу мать, — это же разорение!

А яйца мирно лежали в вентиляционной шахте, чтобы в следующем рейсе сделаться закуской к водке и спирту. Ну и, конечно, Витька не зря восхищался женщинами: они были стремительны и просты в отношениях. Честно сказать, я долго крепился и даже написал подруге короткое письмо, но что-то у нас не складывалось, и давно, а тут Сибирь, свежий воздух...

— Хорошо вы тут устроились, — сказала одна, прощаясь на причале, — поженился на рейс — и концы в воду!

— Точно подмечено, — ответил я смущённо. — Специфика флота.

Не смущался один старпом, любивший заниматься своего рода бухгалтерией:

— Если всех, кого я здесь трахал, выстроить на прогулочной палубе, — он шевелил губами, затем выдавал: — рота получится!

Тут всё измерялось иными масштабами, было под стать реке, неоправданно большой и пустынной. Две тысячи километров — и ни одного моста! Те же две тысячи — и ни одного пивзавода! Последнее, правда, работало на нас: в среднем течении пиво брали даже месячной давности.

— Мужик, честно говорю: с осадком!

— Давай-давай, а свою честность знаешь куда заткни?.. Трубы горят, поэт?!

В нижнем течении пиво появлялось, зато исчезали берега. И, как посланцы иного мира, с Севморпути двигались лесовозы и танкеры, рядом с которыми наша посуда смотрелась жалкой скорлупкой.

Гуляли тут тоже неоправданно долго, жестоко и по преимуществу в долг. Поэтому в день зарплаты у каюты второго штурмана, выдававшего деньги, выстраивались боцманиха и официантки из обоих ресторанов.

— Старшему электрику начислено четыреста двадцать. Сколько вычтем?

Пищеблок мусолил свои кондуиты, зарплата, по меньшей мере, половинилась, а кое-кто вообще оставался должен и либо чистил картошку на ресторанной кухне, либо отдавал долг с «калыма». Половецкий оказался прав: на «Калинникове» не пили только боцман (жена не позволяла) и третий механик, как ни странно, носивший фамилию Пьянков. Он жил через стенку и в основном читал газеты, покупая их на каждой пристани. Когда же механик узнал, что я привёз полдесятка книжек, то стал выпрашивать «чего-нибудь почитать».

Получив для начала Стругацких, он заявился назавтра, сказав, что прочитал.

— И как тебе?

— Нормально... Дай ещё что-нибудь.

Ремарка он прочёл ещё быстрее, та же участь постигла Ирвина Шоу с Фолкнером. Вскоре нечитаной осталась только «Философия и искусство модернизма» — дань моему увлечению художественным авангардом.

— Давай,— сказал Пьянков.— Во, она ещё и с картинками!

Я в книги не заглядывал, захваченный новой жизнью, и даже стыдился, что какой-то механик на корпус обгоняет в этой области. Беседы о прочитанном, однако, не удавались: «нормально» слышал я в ответ и — «дай ещё».

— Станный мужик,— говорил я Аникину,— не понимаю я его.

— Нефтяной,— отвечал электрик.

— Какой-какой?

— Видел, у Верещагино танкер стоял? На обратном пути погляди: уйдёт ли?

Спустя пять суток танкер торчал там же, абсолютно безлюдный, будто побывал в Бермудском треугольнике.

— Стоит? — ухмылялся Аникин.— И ещё долго стоять будет! Нефтяные гуляют!

Пьянков работал когда-то на танкере, и Аникин хитро ухмылялся: мол, подожди, ещё не вечер!

Сообразно сибирским масштабам росла и потенция: у старпома, к примеру, она поднималась вместе с градусом широты.

— Если выстроить всех, кого трахал, — говорил он в районе полярного круга, — батальон получится!

Близость востока выражалась присутствием вьетнамской рисовой водки, которую не уважали: пили для затравки, а продолжали — спиртом. Что поневоле заставляло думать о широкой русской душе. Или о загадочной русской душе? Я имел о ней смутные представления, «деревенщикам» предпочитал рок-н-ролл и публикации «Иностранки», но великая сибирская река провоцировала.

Стиснутая многоэтажками мегаполисов, русская душа расправляла тут плечи, вырывалась на простор и неслась вдаль стремительным «Метеором». Она клокотала, будто Казачинский порог, трещала, как лёд на Угрюм-реке, увлекая за собой даже ныне цивилизованного тунгуса. Наполовину эвенк Аникин, во всяком случае, бесповоротно попал на орбиту сей планеты, а меня... что, собственно, держало в Питере? С Каткой Макаровой дело шло к разрыву, общаги здесь тоже имеются, да и военкомат уже охотился, чтобы заграбастать меня в армию. А значит, можно было перевестись на заочное, устроиться на флот и остаться в Сибири forever.

У всякого явления, однако, имеется второе дно, как на судне. Дни мелькали, за кормой оставались мили и кабельтовы, и «ништяк» растворялся в енисейской воде, а из-под второго дна вылезало то самое, философское.

В июле двух матросов списали на берег, ещё один отстал по пьянке, так что целый рейс я вкалывал за всю палубную команду. В Красноярске, понятно, хотелось отоспаться, но к Аникину притащился некто огромный и с голосом плотгона.

— Кразовских вчера мочили! — с ходу включился он. — А у них заточки — во! Мне в спину по рукоятку и вогнули!

— А ты?

— А я: ну, падлы, говорю! Сбил одного на землю и на морду ему прыг!

Гость уже снимал рубашку, чтобы показать рану от заточки, и будил меня: глянь, студент! Я не хотел глядеть. В Туруханске я отличился в работе багром и заработал приговор местных: «Смотри, очкарик! Выйдешь на дебаркадер — пика в бок!» В Ворогово я швартовался в одиночку, как чумной бегая с носа на корму и обратно, а ещё раньше получил моральный удар, когда сидел в музыкальном салоне с Викторией Аркадьевной.

— Ах, Боже мой! — всплеснула она руками, поймав меня в вестибюле. — Мне сказали, что вы ленинградец! И интересуетесь творчеством Василия Сергеевича Калининкова. Немедленно идёте со мной, я вам сыграю его романсы!

Эта престарелая пассажирка с внешностью чеховской героини, оказывается, была отдалённым потомком загадочного отца-основателя. «Наверное, ей боцман настучал», — ворочались в голове похмельные мысли, когда двигался за ней в салон. Однако звучное

«ленинградец» заставило расправить плечи, а затем с умным видом слушать исполняемые на расстроенном рояле мелодии продолжателя «Могучей кучки».

И тут на пороге возник Кузьмич.

— Гальюны засорились, — сказал, — идём, говно выгребать будем.

Почему-то стало неприятно. Я не относился всерьёз к слову «ленинградец», я пил, как лошадь после скачек, но всему бывает предел.

— А выгребать тоже матросы должны? — спросил я, когда вышли. — И вообще, при женщине могли бы...

— А кто должен выгребать? Моцарт?

Теперь меня хотели лишить законного отдыха. Гиганта звали Серёга, он стряхнул меня с койки и вынул из-за пояса, словно гранату, бутылку водки.

— Вьетнамской разгонимся...

Но я уже не мог видеть ни вьетнамской, ни «шерри-бренди», появившись он здесь по какому-нибудь волшебству. К счастью, вскоре объявили отход.

— Слезай, выпьем! — сказал Аникин. — Серёга кое-что забыл.

— Не хочу.

— Без закуски не хочешь? Так пойдём со склада чего-нибудь...

— И воровать не хочу. Надоело! И вообще — я хочу спать!

Электрик молча сопел.

— Так ты считаешь, что я вор? По-твоему, Аникин — нечестный?

— Все вы честные... — пробурчал я. — Твой Рогов которую неделю шкуры несёт?

Шкурный вопрос возник спонтанно, от обиды. В прошлом месяце аникинский знакомый, пропив в Красноярске деньги, упросил добросить до дому и поселился в каюте с двумя белыми, как полярный снег, лайками.

— Они не злые! — успокаивал. — Соболя никогда не рвут — мех берегут!

Я к пушным зверям не относился, что собаки поняли сразу. Привязанные к ножке кровати, они тихо рычали при каждом приближении, и когда Рогов гулял, в каюту было не зайти.

— Слышь, зверьё... Дай тельняшку возьму!

«Р-р-р-р... Р-р-р-р...» — будто заводили мотор; а шагни — сразу на полные обороты, так что кожаные ремни едва не рвутся.

— Трое таких медведя валят, — зевая, сказал Пьянков. — Во, а про животных ничего нет почитать?! Бианки, к примеру, или Сетон-Томпсона?

Гуманный Рогов решил отплатить за мучения, перед высадкой спросив:

— Я у тебя должник. Чего хочешь? Оленью шкуру?

— Ондатровых бы парочку, — замялся я, — шапку хочется сшить.

Рогов ощупал мою голову, как иногда делал с собаками.



— Две мало, надо три. Принесу, когда в следующий рейс пойдёте.

Теперь случай вспомнился, вызвав у Аникина непонятную усмешку.

— Так ты думаешь, Рогов продинамил?! Ну, студент...

Вскоре нас развели в разные вахты, мы редко виделись и, кажется, оба были довольны. Я взялся за отложенные книжки и каждое утро занимался физкультурой на корме, используя рангоут в качестве турника. А ещё помогал старшему электрику (тот учился на заочном) писать курсовик, как ни странно, находя в учебном процессе удовольствие.

А река подкидывала новые впечатления. Однажды в первый класс загрузились охотники с ящиком водки и, употребив половину, завалились в соседнюю каюту — наверное, похвалиться охотничьими подвигами.

— Поднимись в первый, — сказал старпом, — надо охотников успокоить.

— А если не успокоятся?

— Через машину пропустим, — загадочно высказался «страшный».

Я поднялся, костяшками пальцев постучал в каюту и, вспомнив об интеллигентском статусе, даже начал речь с извинений.

— Нет, ты заманал! — вытаращил один мутные глаза. — Думаешь, я туфту гоно? Ну скажи: думаешь?!

Кажется, меня с кем-то путали. Второй едва стоял на ногах и, встав спиной, что-то делал; когда же повернулся, в мою грудь упёрлась двустволка.

— А, что с ним говорить?.. Вдолбать пару жаканов... Чтоб, блин, на фиг, со свистом вылетел отсюда!

Почему-то стало ясно, что ребята не шутят. Быть может, и не предупреждают, а просто приняли решение и сейчас меня, не успевшего пожить...

Говорят, в таких случаях вспоминается жизнь. Мне же вспомнился бесхозный «жмурик», которого неделю назад видел на берегу: оставленный друзьями, властями и местными, покойный браконьер распух и почернел, валяясь, как дохлая собака.

— Ништо, — сказал Аникин. — Их каждый год знаешь сколько на крюки садится? На свои же «самоловы», когда с лодок выпадают.

— Но убрать-то можно?!

— Можно. Двоих вертолёт увёз — у них документы были. А у этого, ребята говорят, нет ни хера. Бич — кому он нужен?

Вспомнилось даже, что бич — это «бывший интеллигентный человек». А зрачки стволов между тем гипнотизировали (или я их пытался гипнотизировать?), в любую секунду готовые плюнуть огнём.

— Ладно, мужики... Какая ж туфта? Верно всё говорите... В общем, пошёл.

Поворачиваясь, я ждал выстрела в спину. А когда добрёл до вестибюля, не узнал себя в зеркале: бледная спирохета какая-то, а не мужчина в расцвете сил.

Выстрелы всё-таки были, и именно жаканами, в результате чего пробитыми оказались двери и переборка. Коридор первого класса на время обезлюдел, подловили же стрелков в гальюне, куда они пошли без ружей.

Когда их затаскивали в машинное отделение (двигатели шумные, и криков не слышно), мой благоприобретённый гуманизм молчал. И даже врождённый едва шевельнулся, когда за ноги вытащили в коридор. Боцманская ковбойка была забрызгана красным, а в глазах светился неподдельный азарт:

— Ну а ты что ж не врезал? Старпом, видишь, не успокоится никак!

«Страшный» работал ногами, оправдывая прозвище, я же самым подлым образом проявлял мягкотелость. Ружья, ясное дело, конфисковали, а утром виновников сдали на ближайшей пристани милиции.

— Тебя, что ли, замочить хотели? — с интересом спросил молодой лейтенант. — Тогда сядь, напиши, как дело было.

— А успеем? — во мне заговорил правовой оппортунист. — Скоро же отходим...

— Пиши-пиши! Задержат, если надо!

Когда я отдавал бумагу, лейтенант бодро проинформировал:

— Тут один ваш пароход из карабина обстреляли! Жертв, правда, нет...

Последнюю фразу произнесли с явным сожалением. «Калинников» призывно гудел, и уже в спину я услышал:

— Когда следствие закончим, пришлём телеграмму: выступишь как потерпевший! Как, не против? За казённый счет в Сибирь слетаешь! Здесь же места — обалденные. Где ещё такое увидишь?!

Потом дрались в Потапово, а в Курейке, где среди тундры высится монстрообразный сталинский мемориал, нас травили собаками. Лайки Рогова уже казались воплощением человечности (особенно в сравнении с двуногими), а флотская служба, что виделась когда-то «школой жизни», представлялась дурным сном. «Если это школа, — думалось, — то я в ней явно пересидел».

После очередного рейса Аникину потребовалось свезти матери десяток стерлядей и мешок картошки.

— Поможешь дотащить? — попросил он, на всякий случай добавив: — Картошку — купил в Атаманово.

Так состоялось примирение.

Мамаша оказалась сухонькой тунгуской, одетой в забавную смесь ширпотреба и национальных одежд. Она курила загнутую трубку и была глуховата, так что сыну приходилось орать на ухо:

— Это мой друг! С «Калинникова»! Ленинградец!!!

— Братец? — переспрашивала старуха. — Братец твой не пишет, уже три года как... Пропал, наверное, в тюрьме.

В остальном это была знакомая «хрущоба» с набором для выживания. И водка та же, и «Беломор», и если бы не раскосые глаза и вышитый передник хозяйки, то, считай, сидишь у приятеля на Малой

Охте. Мы выпивали, Аникин орал, указывая на меня, когда я вдруг понял: мной хвастаются.

— Он студент!!! На инженера учиться!!! А работать к нам приедет!!!  
— Слышу, слышу... — пьяненько кивала мамаша. — А ты, Колька, бестолковый! Даже техникум не закончил!

— Бестолковый, мамань! — гоготал электрик. — Чистой воды дурак!!

Также Аникин хвастался знакомством с Высоцким (выпивали на съёмках «Хозяина тайги»), то есть мне тут нечего было ловить. К тому же я не обещал приехать сюда работать. Но сидел и молчал как болван, чувствуя слева странное щемление...

Потом стало догонять эхо первых рейсов: Сибирь откликалась на «ау», которое бодро кричали новички. В Дудинке я встретил у трапа Гогу Мамаладзе, грустного и с перебитым носом.

— Как жизнь? — спросил я из вежливости.

— Дерёмся, — вздохнул Гога. — За руль не сажают, в слесарях пока. И этот водка гнилой... Будь другом, принеси «Саперави», а? Три... Нет, держи на пять бутылок!

А в Игарке поднялись на борт Валя и Галя — с вещами, смурные и без копейки денег. Оказалось, их заставляли грузить доски, перебирать гнилые овощи, а детским садом там и не пахло.

— А как же приглашение начальника?

— Приглашение? — усмехались беглянки. — Хватало приглашений...

Перед отходом к пристани подкатил «уазик», откуда вылез плюгавый мужик в кожанке. Заглянул в зал ожидания; когда же двинулся к трапу, на прогулочную выскочила Валя, показав известным жестом: мол, хрен тебе! Засвистел прощальный гудок, и мы увидели, как в ответ грозят кулаком.

На билет у них денег не было, но как раз не хватало уборщиц. И Валя с Галей взялись за гальюны и коридоры, намывая их по два раза в день и ухохатываясь: разве это — работа?! Курорт, Южный берег Крыма! Они показывали кровавые ссадины на руках, с содроганием вспоминали барак, где жили, хотя самым гнусным считали домогательства начальника стройки, старпёра и извращенца.

— И таких дур у него — навалом! Специально заманивает, для выбора!

На радостях Валя закрутила любовь с радистом Шевцовым, смаывая его в Кострому.

— Я на СП работал, — важно отвечал радист. — У вас в Костроме есть дрейфующие станции?

— У нас всё есть! Кроме таких козлов, как наш начальник!

Курортную жизнь прервала телеграмма из Игарки: мол, на борту две большие сифилисом пассажирки, которых просим вернуть для изоляции и лечения. Сообщивший об этом радист был почему-то нервный и бледный. И хотя общественное мнение постановило: телеграмме не верить, — сверху последовала команда: заразных — на берег!

— Ну, повезло! — переводил дух старпом. — Я ж только с одной хотел, и на тебе! А у меня жена и так... Высаживаем, на фиг, мне тут венерических не надо!

На пристани «Сосновый бор» горел одинокий фонарь. Мы стояли в вестибюле, когда с телетайпами в руках показался Шевцов, и Валя раскинула руки:

— Дай поцелую, родной!

Радист шархнул и исчез в проходе. А Галя мрачно проговорила:

— Лучше бы начальника поцеловала — были бы здоровыми...

— Ладно, — сказал я, подавая трап, — через сутки «Литва» подберёт. Генку Савицкого спросите, он из Питера.

— А не испугается твой Гена? — усмехнулась Валя.

— Не будут же на каждое судно телеграммы отбивать, — я оглядел безлюдный ночной причал и зачем-то добавил: — В этих краях, говорят, Тунгусский метеорит упал.

— Событие! — покрутила головой Галя. — Пойдём и мы упадём — в зале ожидания.

На следующий день объявили собрание.

В президиуме сидели старпом и второй штурман, бывший единственным на судне членом партии. Испуганно озираясь, он бормотал:

— Может, я туда? Со всеми?

А мы ожидали капитана: тот мало интересовался жизнью в низах, но иногда спускался с небес и, как Перун-громовержец, беспорядочно метал в подчинённых громы-молнии.

В отличие от фаватера, Ледовский не помнил событий, предпочитая их записывать. И, усевшись за стол, разложил перед собой мятые листки.

— Ага! — сказал, выудив один. — В Сумароково матросы сломали трап! И порвали на швартовке трос! А швартовный трос, если скалькулировать с трапом...

— Мы по другому поводу, — нервно поправил «страшный». — Вон там, с краю...

— Понял. Ага: боцман, Василий Кузьмич Скрынников, требует идти на Диксон! Надо, говорит, делать рыбные запасы на зиму. А разве в верхнем течении наберёшь?!

Старпом вытащил бланк и положил перед носом начальника.

— Да я вообще-то о чём? У нас на судне уже завёлся этот, — капитан помахал телеграммой, — ну, этот...

— Сифилис, — подсказал Аникин.

— Вот! Я и говорю: триппер развели! Телеграммы уже шлют! Поэтому работницы пищеблока в Красноярске пойдут в этот...

— В венерический диспансер, — сказал старпом, — и без обсуждений! Вы людей кормите, и вообще!

«Вообще» относилось к официантке верхнего ресторана, которую старпом иногда навещал. А лысина Кузьмича почему-то начала багроветь.

— А что, всем работницам надо?.. Ну, туда?

— Пищеблок — это наше лицо, — ответил капитан, — и оно не должно быть больным всяким этим...

— Сифилисом, — уточнил Аникин.

— Нет, всем идти или как?!

Боцманиха багровела ещё быстрее, так что вскоре супружеская чета представляла собой два факела.

— Александра Макаровна может не идти, — догадался старпом, — но некоторые члены экипажа... Они сами знают!

Радист лихорадочно толкал в бок: как думаешь, правда или нет?!

— Вскрытие покажет, — пожимал я плечами.

А Ледовский опять заглянул в бумажку.

— И это же не первый прецен... преци... Короче, не первый раз! Композиторский юбилей помните? Ни хрена вы не помните! Вы вообще забыли, что наше судно носит имя знаменитого композитора...

— Чайковского, — пробормотал я, вспомнив про «чай».

Капитан посмотрел на меня с укоризной.

— Калининкова! Эх, а ещё ленинградец! Да, некоторые члены... То есть некоторые практиканты вместо цементирующей, так сказать, роли... влились в общее разгильдяйство, я так скажу! На юбилее Калининкова практикант и радист включили по трансляции этих... Ну?!

— «Пинк Флойд», — уныло отозвался Шевцов.

— А красноярский хор? Что, спрашивается, вы сделали с работницами хора?!

— Пустили на хор, — тихо проговорили за спиной.

Махнув рукой с выражением величайшей безнадёги, капитан достал следующий листок.

— Так, переходим к основному вопросу повестки дня. На Верещагинском рыбзаводе капитан приобрёл ряпушку. Малосольную! Вкусу-усную... В общем, надо поделить. По справедливости и, так сказать, в соответствии со штатным расписанием. Какие будут предложения?

Тосковавший второй штурман встрепенулся и заученно проговорил:

— Комсоставу — по три банки, пищеблоку — по две, палубной команде — по одной.

Капитан согласно кивал.

— Справедливо... Но не совсем. Предлагаю радиста Шевцова приравнять к палубной команде. А практиканту вообще не давать!

— О'кей, — сказал я, — отказываюсь в пользу Кузьмича, а то на Диксон сбегит!

После коллективного похода в КВД паника улеглась: официантки втихую матерились, радист же усмехался и произносил загадочную фразу:

— Вассерман — в минусе!

Новую палубную команду вскоре тоже списали на берег. Я опять вкальвал, как негр на плантации, а пил по инерции, без кайфа. Если Сибирь и стоит мессы, думалось, когда работал шваброй, то — заупокойной.

### 3.

В начале августа «калымы» шли сумасшедшие. Я уже напоминал орангутанга: плечистый и сутулый, я, казалось, был создан для переноса ящиков и мешков, как птица для полёта. И с грузом не ходил, а бегал ради экономии времени.

Начальники тоже включались (жадность обуюла), мы же издевались над ними, кряхтевшими с непривычки.

— А ну-ка лыжню! Слышь, ты, уступай дорогу!

Комсостав матерился, но уступал, чтобы с унынием подсчитывать немногочисленные палочки в боцманском блокноте. А хакасы гнали и гнали фуры, закармливая безвитаминовый Норильск отборными помидорами и хрусткими кочанами.

В одном из рейсов загрузились так, что невозможно было ходить по палубе. Пассажиры ругались на хозяев, что ночевали прямо на ящиках, и жаловались капитану.

— Не пройти?! — удивлялся тот. — По палубе?! Р-разгильдяи!

Он тут же вызывал старпома или боцмана, что-то выговаривал, но никто и не думал переносить ящики. Во-первых, куда? А во-вторых, капитан через час уже ничего не помнил и следующую делегацию встречал с не меньшим удивлением:

— Груз мешает пассажирам второго класса? И первого?! Ну, р-разгильдяи!!

К порогам подошли ночью. Полагалось ждать рассвета, а ещё гроза — словом, готовились отдыхать. Развалясь в вестибюле на диване, старпом тискал какую-то брюнетку, наверное, желая превратить батальон — в полк. Аникин же раздобыл китайскую водку со змеёй и теперь учил:

— Ты, главное, глаза зажмурь. Выпей это говно и голову зубами — хрясь! Понимаешь, огурец китайскую не перешибает, а змея — только так!

В час ночи старпома вызвали в рубку. Терпеливо дождавшись кавалера, брюнетка округлила глаза, когда услышала многоэтажный мат. — Чаю опился! — крутил у виска старпом. — Идём, говорит, через пороги!! На фиг, в Красноярске списываюсь на берег!

Меня с боцманом послали на бак. Но разыскал я Кузьмича на корме: в жилете, он оценивающе оглядывал спасательную шлюпку. — Всё равно мою Александру не выдержит! — махнул рукой. — Ты документы и деньги взял? В целлофан упаковал? Нет? Дурак! Если бы не баба, я бы прямо сейчас — за борт!

Мы были вперёдсмотрящими. Подняли якорь, и «Калинникова» понесло туда, где шумели буруны и под водой дыбились острые камни.

Некоторые картины отпечатываются в мозгу подобно фотографии. Блицем служили молнии, оставив в памяти «кадры»: перегнувшийся через борт Кузьмич, пена впереди, будто в Енисей вылили цистерну шампуня, а затем — хакас с пачкой денег.

— Сколько стоит жилет?! Любые деньги плачу!!

— Слияй! — отмахивался боцман. — Иди помидоры стереги — скоммуниздят!

— На фиг помидоры, жизнь дороже! Да если б знал... Пираты!!

Я не поверил, когда судно выскользнуло на спокойную воду. Грохотала якорь-цепь, что-то тараторила боцманиха, кутая мужа в плащ-палатку, я же вглядывался в мираж, возникший в ночи. Ниже порогов стоял на якоре «Антон Чехов»: залитый огнями, гремевший музыкой круизный «бл...воз» казался посланцем иного мира. И вспоминалось сакраментальное: каждому — своё...

Когда отошли от пристани Ворогово, следом кинулась моторка. С кормы я наблюдал погоню, гадая: браконьер? Или просто выпить хочет?

— Чего надо?! — крикнул я, когда моторка подошла под борт. — Стерлядь на пиво меняешь?

— От пива бы не отказался! — захохотал лодочник. — А стерлядка у меня одна, зато крупная какая! Сама к тебе перелезет!

Со скамейки поднялась мешковатая фигура, в которой угадывалась женщина.

— В Норильск ей надо. А деньги и справка — тю-тю... Довезёшь? Из тюряги баба, ты уж войди в положение...

Ко всем моим грехам не хватало ещё «бабы из тюряги»! Но бывает, что поступаешь вопреки логике, как правило, зарабатывая приключения на свою задницу.

Лодочник сунул взятку — пару копчёных шук, а фигура уже стояла возле ящичков, заполнявших корму. Продрав глаза, хакасы наблюдали сцену с видом людей, разучившихся удивляться; я же прикидывал: куда её поселить? Официантки теперь пуганые, буфетчица тем более, и оставалась только каюта.

Звали пассажирку Верой. Я ожидал, что расскажут ещё что-то, но насчёт остального она помалкивала.

— Здесь поедешь, — сказал я. — У нас третья койка — свободная.

— Хорошо.

— Гальян в конце коридора.

— Что в конце?

— Туалет.

И опять молчание. «Могла бы быть повежливее... — думал я. — С чего бы я должен ей доверять?»

— Статья у тебя какая?



— Сто четвёртая, — ответили заученно.

Я с важным видом покивал, хотя понятия не имел, чем сто четвёртая отличается, допустим, от двести четвёртой. На вопрос же о документах услышал вздох: мол, украли: и деньги, и справку об освобождении.

— И как теперь? Без бумажки, как говорится, ты — букашка.

— Мне бы до Норильска добраться, — сказала она. — А там я всё восстановлю.

Был дан приказ: запираться на щеколду и открывать только по условному стуку. Я оглядывал широченную штормовку, грубые брезентовые штаны, и вдруг вспомнилось: «Рыбачка Соня как-то в мае...» Рыбачка Вера.

Не сразу дошло, что в Дудинке — погранзона. И даже имей Вера деньги, ей не продадут билет. А пограничники, шмонавшие судно в каждом рейсе, беспаспортную сразу сграбастают и увезут в комендатуру.

Кажется, на горизонте замаячили серьёзные неприятности. В комендатуру ведь увезут и меня! А мой послужной список и так... Я драил палубу в тоске и унынии, когда меня разыскал Аникин.

— А кто в каюте сидит? — тупо спросил он. — Кто-то, бля, на щеколду закрылся...

Он придерживал руку под робой — раскровенил, когда проводку чинил, и теперь хотел добраться до бинта и йода. Когда спустились вниз, я условно постучал, увидев через секунду перепуганное лицо «рыбачки».

— Он тоже здесь живёт, — сказал я, — короче, наш человек.

Когда Аникин достал бинт, Вера вызвалась помочь.

— Я ведь медик, — сказала она, — операционная медсестра.

— Да? — недоверчиво спросил электрик. — И за что же операционных сажают?

Послышался вздох и рассказ о том, как во время операции умер пациент. Важный пациент — шишка! — за что хотели посадить хирурга. Но тот отмазался, дав взятку, и крайней оказалась сестра.

— Ладно, я если и шишка, то на ровном месте... Давай, только чтоб не больно.

Вера умело перебинтовала руку, после чего немедленно выпили. Вера чуть-чуть, мы — как обычно, и вскоре я думал: «Чего заранее трястись? Придумаем чего-нибудь...»

А рождённые в тельняшках (то есть прошедшие ночные пороги) гуляли. Твиндек гудел, палубы тоже, благо экипаж победил директрису — в этот рейс она уже не пошла. Иногда Вера поднималась наверх, но быстро возвращалась.

— В зоне так не бухают? — интересовался Аникин.

— Не с чего.

— Верно, верно... Я когда-то братану в грелке водяру пересылал. А теперь и не знаю: где он? Ладно, привыкай к настоящей жизни...

Капитан то и дело требовал по трансляции закуски из верхнего ресторана, и вот-вот должна была заиграть гармошка. Экипаж шёл в кильватере, не отставая, так что каждая вахта грозила столкновением или посадкой на мель. Но главное — развязал Пьянков! Вылакав припасённый алкоголь, он то и дело забегал за выпивкой:

— Дай спирта! Дай водки! Дай пива!

— Куда тебе столько?!

— Да когда я на танкере... Ведро бензина на ведро самогона меняю — и понеслась душа в рай!

Дорога в рай была длинной и ёмкой. Мы подсчитывали, сколько его угощали, — дозы получались убийственные, а этому хоть бы хны!

— Дай одеколону! — влетел однажды Пьянков.

Я послал его подальше, как показало будущее, недооценив «нефтяного» механика.

Из рубки уже требовали официантку — выбрать якорь-цепь, и боцмана, чтобы принести картофель фри. За островом Барочка причалили, и капитан со «страшным» исчезли в тайге — искали приятеля из секретной воинской части. Потом выяснилось, что часть перевели за триста километров отсюда, и Ледовского едва отговорили от захода в Подкаменную Тунгуску.

А вскоре по «Калинникову» разнеслось:

— Вниманию пассажиров! Предлагаю пройти на бак! Прямо по курсу — лось! Лось переплывает Енисей!! Ну, р-разгильдядь!!

— Что это с вашим начальником? — спрашивала Вера.

— Делериум тременс, — отвечал я.

— Белая горячка? А как же он...

— Сам не понимаю. Погоди, то ли ещё будет...

И верно: через минуту скомандовали отдать носовой швартов. До берега было с полмили, поэтому я лениво поднялся и, разыскав боцмана, молча на него уставился.

— Что смотришь? — недовольно сказал тот. — Не швартоваться же посреди реки?.. Да, полный Моцарт!

Когда я вернулся, Вера сообщила: мол, твой друг попросил одеколону — сполоснуть щёки после бритья. Кинувшись к Пьянкову, я увидел того в отключке, а рядом пустые пузырьки: «Шипр», «Ландыш»... Похоже, палубная команда осталась без парфюмерии. А машинная — без механика, поскольку на вахты Пьянков уже не выходил.

Наверху я встретил пьяного рулевого с измазанной красным физиономией.

— Иди на палубу, — икнув, сказал тот, — «калымщики» угощают.

Выставив на палубу водку, хакасы вскрывали ящики с помидорами.

— Налетай!! Пей-гуляй!! Пираты, всех нас утопите — и ладно! Ну, кому?! Крупные, сочные! Не доплывём, так погуляем!!

И тогда взяла тоска. Набитый людьми и грузом «Калинников» летел неизвестно куда: то ли плавучая гоголевская тройка, то ли

двухпалубный лесковский «Чертогон». Казалось, мы давно сбились с курса, свернули в какую-нибудь протоку и скоро сядем на камни. А что? В прошлую навигацию, говорили, одни так затонули...

К Пьянкову прибежал старпом, но потом выскочил, зажав нос и махнув рукой: хрен с ним! А механик раздобыл где-то литровую банку спирта и теперь даже до гальяна не доходил.

Загадочная русская душа пахла мочой. Или это воняло русское тело? Находиться в твиндеке, во всяком случае, было пыткой, тем более везти здесь женщину.

— Ты бы прогулялась, что ли... — говорили мы Вере.

— Ничего, я окошко открою.

— Иллюминатор, — поправлял Аникин.

А я безуспешно пытался читать, чтобы не вливаться в общую линию. «Дадаисты закончили отрицанием всего... Сюрреалисты объявили в своём манифесте...» Буквы складывались в слова, но смысл ускользал, и разбирал нервический хохот. Какой, к чёрту, дадаизм?! Какой Сальвадор Дали?! Когда же последовала команда нейтрализовать Пьянкова, искусство модернизма потерпело окончательное фиаско.

— Помрёт же!!! — кипятился старпом. — А мне оно надо?!

— Помрёт — гадить не будет, — философски отвечал боцман. — А вообще-то вы начальник, вам и решать.

Механика решили связать и, закатав в брезент, вытащить на верхнюю палубу проветриться. Кокон любовно повернули головой по ветру, а из рубки установили наблюдение: шевелится ли? Мычит ли? Чего просит? Лишь капитан постоянно забывал о механике и спрашивал:

— Что там лежит?! Убрать, мать вашу, мусор!

Между тем предстояла сложная задача: избавиться от загаженного белья. Когда выкинули на морского, кому возиться с матрасом и простынями, выпало мне.

— Может, на речного переиграем? — робко предложил я. — Мы всё-таки на реке...

— А давайте я! — неожиданно сказала Вера.

«Бывают же душевные люди», — подумал я и отправился искать забытый в вестибюле фотоаппарат. Его не было, и никто не видел, куда он делся. А значит, вся память о Енисее... Наверху гармошка фальшиво выводила: «Напрасно старушка ждёт сына домой, ей скажут — она зарыдает...» Рыдать было бессмысленно, искать, кажется, тоже, и оставалось понятно что.

Чему я научился — так это быстро напиваться. Хакасы продолжали гулянку в нижнем ресторане; приняв меня в компанию, они расспрашивали: где бы выгрузиться пораньше, чтобы продать по дешёвке помидоры и вернуться домой?

— Выгрузимся... — говорил я. — Прямо сейчас! Что там на горизонте?

Шумною толпою выгребли в вестибюль, и я отправился швартоваться. Кто-то из новых знакомцев натянул на меня жилет, я выбрался на привальный брус и... Что приятно удивило: вода была тёплая. Неприятность же заключалась в том, что я никак не мог вынырнуть, уйдя довольно глубоко и судорожно махая руками.

Вытащил, собственно, жилет. Я хрипел, выталкивая из лёгких воду, потом подгрёб под привальный. И, зацепившись, наблюдал, как уплывает в темноту брошенный кем-то спасательный круг. «Зря,— подумалось,— теперь найди его...» Когда прогудел сигнал «человек за бортом», я уже был в машинном отделении, забравшись туда через иллюминатор и капитально порвав при этом джинсы.

Вернувшись в каюту, я обнаружил, что не имею запасных штанов. — А ты мои возьми! — сказала Вера. — Они брезентовые, и вообще — мужские!

— А сама как?

— У меня вторые есть,— она уже расстёгивала пуговицы. — Под низом, трикотаж с начёсом. Переодевайся, а я отвернусь!

Первый раз мне дарили штаны, как бы это сказать... С барского плеча в нужном анатомическом уточнении: жёсткие и плотные, они могли стоять сами по себе, а на внутренней стороне имели лэйбл «Енисейская пошивочная фабрика».

— С обновкой, матрос! Живой, значит?

Вбежавший Аникин весело хлопал по спине, но в глазах я уловил испуг.

— А на корме такой шухер развели... Сходил бы, успокоил их, что ли!

Вера сказала: штаны — как влитые, даже ушивать не надо. А затем опять прозвучало «человек за бортом», возмущив несоответствием истине.

На корме спускали шлюпку.

— Лебёдку включай! — орал боцман. — Не найдёшь выключатель? Ну, мудашили... Если студент утонет, сам вас утоплю!

Кузьмич встал за лебёдку, а пьяные рулевой и радист взялись выталкивать шлюпку за борт. Странно, но тянуло смотреть дальше. Я дождался, когда спасатели прыгнут в лодку, и лишь тогда спросил: что за шум?

— Тебя спасаем... — растерялся боцман. — Эй, орёлики! Полундра отменяется...

Однако Шевцов кричал, что видит тело, и порывался что-то зацепить багром. А рулевой объяснял:

— Мудашили ты, Кузьмич! Через две минуты утопленник всплывает, понял? Он, разгильдяй, обратно хочет, потому и всплывает!

Неудачливого утопленника, естественно, вызвали в рубку. Капитан сидел на высоком стуле, вцепившись руками в сиденье, и молчал. Молчание Ледовского могло означать что угодно, и я решил дожждаться первой фразы.

— Ну, понятно, — со вздохом сказал капитан. — Ты, я думаю, не закусывал?

Я ожидал всякого, но начёт закуски в голову не приходило.

— Да, знаете ли... Рукавом... По-студенчески...

— Вот! — Ледовский поднял вверх палец, изрядно при этом накренившись. — А надо брать пример с капитана! Он, когда чай пьёт, сначала икорки положит! Стерлядки нарежет! Поэтому капитан всегда на посту, в то время как некоторые члены... Некоторые разгильдяи... А почему? Потому что культуру утратили, мать вашу!

Ледовский горько усмехался, глядя перед собой и видя, наверное, нецивилизованную, лишённую закуски страну. Во время следующего жеста крен достиг критического уровня, и, дабы избежать оверкиля, капитан мёртвой хваткой вцепился в стул.

— Да, и у капитана бывают проблемы... Чай попался не тот... Грузинский.

— Грузинский вообще не очень, — сказал я, — вы лучше армянский заваривайте.

— Думаешь? Ладно, иди... И в следующий раз, мудашвили, вначале принесёшь и покажешь капитану закуску!

Моё спасение отмечали в каюте Шевцова. Боцманиха принесла банку икры, радист выставил шампанское, и все наперебой рассказывали, что они почувствовали. Получалось, что в случае моей гибели в сердцах осталась бы незаживающая рана. Что ко мне привыкли, меня даже полюбили, и если бы, не дай Бог...

— Ты нужен, бля, людям! — подытожил Аникин, то ли удивляясь, то ли констатируя факт.

Ради такого, ей-богу, стоило наполовину утонуть.

На следующий день в глазах капитана читалось смутное желание вздрючить меня по-крупному, но разговор вроде как состоялся, а уважающий себя речник не входит дважды в ту же воду. И весь похмельный гнев обрушился на механика Пьянкова, размотанного и тут же списанного на берег.

Когда причалили в Курейке, я увидел на пристани Сашку Бычкова, из наших, попавшего на «Латвию». Он сидел рядом с каким-то длинным ящиком, накрытым брезентом, и сосредоточенно курил.

— Отстал от своих? — спросил я, увидев в ответ собачью тоску в глазах.

Сашка молча откинул брезент — под ним был гроб.

— Штурмана нашего домой везу. Нырнул, понимаешь... С водолазами искали. Теперь вторые сутки на перекладных «Метеорах» добираемся...

Из-под брезента попахивало, но затошнило меня от другого. Не помню, о чём говорили, зато хорошо помнится, как исчезал в «очке» только что съеденный обед.

А градусы северной широты неумолимо повышались. Зори делались светлее, чего нельзя было сказать о моём душевном состоянии: пограничная зона — дело серьёзное, и если поймут на провозе беспаспортной...

Взяв напрокат у официантки юбку и жакет, Вера стала похожа на женщину. Лучше бы оставалась в брезенте — не привлекла бы внимания старпома, когда тот инспектировал твиндек.

— Это что за матрёшка? — спросил. — Потасканная, но вообще-то ничего...

А вскоре я обнаружил его у каюты, стучащего в дверь.

— Никого нет дома, — сказал я, — все на вахте.

— Ладно, не вешай лапшу! Безбилетную везёте? Если дашь ключ на часок, то я ничего не видел.

— Вам почудилось что-то. Нет там никого.

— Пожалел? Да тут этого добра... Если их выстроить...

— Знаю, — сказал я, — дивизия. Но здесь не получится.

Старпомовская усмешка ничего хорошего не обещала, то есть приключения и задница сближались с ускорением, которое сам же провоцировал. Подумаешь, Гекуба! В тюрьме и не через такое, наверное, прошла! Но что-то ещё сопротивлялось — наверное, врождённый гуманизм.

Дверь была закрыта на щеколду. Я долго и безуспешно отбивал по двери «морзянку», пока оттуда не вылез раздетый до пояса электрик.

— Пойдём подышим, — сказал, — не стоит туда идти...

Таким прибитым я видел его впервые. Мы стояли на баке, Аникин курил, затем выдавил:

— Ну какой из меня муж? Речник — он же порченый, бродяга... Пью опять же как лось. Жена меня бросила. Так что ей, может, снова захочется...

— Чего захочется?

Он не ответил, а я и не докапывался. «Мне бы ваши проблемы», — думал, считая часы до порта назначения. «Здравия желаем! Начинаем осмотр судна». Нелегальную пассажирку разыскивают, допрашивают с пристрастием, и... Почему-то вспоминался бодряк-мент, обещавший роль потерпевшего. А как насчёт обвиняемого?

Когда причалили, Вера куда-то исчезла, Аникин же находился на вахте. И на всякий случай пора было подвести итоги.

На Енисее я научился воровать госимущество. Я способствовал браконьерам в их противозаконном промысле. Мои связи с женщинами поражали уньлой скоротечностью: три дня, когда вниз по течению, и пять — когда обратно. Я заработал как минимум первую степень алкоголизма, чуть не утонул и, наконец, допрыгался до провоза в погранзону беспаспортной гражданки (отсидевшей, кстати, срок!).

— Не бзди, — говорил Аникин, сменившись с вахты, — прорвёмся.

— Пошёл ты! Старпом погранцов водит сам!

— Ништо... Помнишь, у Потапенки яйца скоммуниздили? Не нашёл!

— Ну даёшь... Ты что, Верку в вентиляцию спрятал?!

— Нервный ты, студент. Может, женьшеневой врежешь? Змея — фигня, а вот корешком жизни закусить...

Сапоги погранцов застучали за дверь, как шаги Командора. «Страшный помощник» подгонял: мол, тщательней проверяйте, — так что служивые даже в стол залезли. Когда же взялись шарить под койками, Аникин посоветовал:

— Под слани ещё гляньте — там обычно контрабанду возим.

— Ну-ну! — сказал старпом.

Но всё же заглянул, сунув голову под второе дно.

— Чисто... В соседних каютах надо посмотреть.

Вскоре послышалось: «Ф-фу!» — и солдатский мат: очевидно, открыли каюту Пьянкова. А затем сапоги загрохотали по трапу, что позволило перевести дух.

Аникин молчал до последнего, как герой-партизан; я уже думал: не высадила ли Вера раньше? Но спустя час, когда пограничники убрались, она сбежала по трапу и скрылась в людской толчее.

— Что смотришь? — спросил электрик. — Я у капитана «коротыш» устроил и ключи от каюты взял. Он же сразу к начальнику порта — опохмеляться... Кстати, надо идти ремонтировать, а то постарался на совесть!

Пока выгружали «калым», я окончательно успокоился. Хотелось думать, что наша пассажирка найдёт время подойти, но Веры не было; когда же отчаливали, мысли уже имели оттенок обиды: даже не попрощалась...

И тут на дебаркадере показалась знакомая фигура с пакетом в руках. Вера торопилась, пакет выскользнул, и по настилу покатилося что-то зелёное, падая в воду.

— Яблок где-то достала, — сказал Аникин. — Эх! — а затем неожиданно добавил: — Суки мы, мужики. Убивать нас надо — как вот она.

— При чём тут она?

— Она ж своего мужика того... топором. Может, и правильно?

Фигура растерянно разводила руками, делаясь всё меньше и меньше. Яблоки падали в Енисей, как зелёные мячики. Опять думалось о загадочной русской душе.

Через неделю охотник Рогов появится на пристани с обещанными ондатрами, сказав, что надолго уходил в тайгу. Потом шкуры свистнут в Красноярском порту, а концов, понятное дело, не найдут. Фотоаппарат, напротив, обнаружит радист Шевцов, что обойдётся мне в бутылку коньяку. Механик Пьянков устроится на «Бородина», опять запьёт и, накатив кружку одеколona, упадёт на палубе замертво. Второй штурман отринет партийную совесть, тоже запьёт и посадит «Калинникова» на мель. Потеряв свои бумажки и будучи под мухой, капитан Ледовский напишет мне блестящую характеристику. А во время проводов в аэропорту физиономия Аникина вдруг слезливо сморщится, и почему-то захочется сдать билет и никуда не улетать.



Зинаида Кузнецова

## Белые собаки Матери Терезы

Погода, такая замечательная с утра, явно портилась. Снег залеплял лобовое стекло, приходилось то и дело включать «дворники». Мела позёмка, дул сильный боковой ветер — того и гляди, машину опрокинет. Не надо было заезжать в краевой центр, подумала Тереза Ивановна, лучше бы сразу из аэропорта домой. Но как не заехать: подруга просила передать дочке-студентке деньги, да и купить кое-что по мелочи не мешало бы. В городе пробки, гололёд, пока нашла общежитие, пока пообедали со Светланкой в кафе, пока забежала в пару магазинчиков — уже и вечер на носу. Она взглянула на часы: около четырёх. Скоро стемнеет, надо поторапливаться. Впереди, в снежной замети, что-то мелькнуло. Собака. Большая белая собака перебежала дорогу. За ней через минуту ещё одна, потом ещё.

Холодок пробежал по спине. Теперь жди неприятностей. Машина заглохнет или ещё что. Надо было ехать на «Ниве», но «Нива» мужу понадобилась, пришлось взять «Волгу». Правда, машина хоть и старенькая, но вполне надёжная. Она прислушалась: двигатель работал ровно, бензина в баке было достаточно.

Первый раз она увидела белую собаку в детстве, лет семь-восемь ей было. Они жили на хуторе, в школу надо было ходить за три километра, в райцентр. Если кто подвезёт — хорошо, а так пешком, по колено в грязи, в снегу, каждый день туда-обратно. Их было несколько, хуторских ребятишек, и в общем-то они не боялись ходить такой компанией. Но в тот раз она возвращалась из школы одна. Мела сильная метель, дорогу занесло, в двух шагах ничего не видно. Она устала, тяжёлый портфель оттягивал закоченевшие руки, из глаз текли слёзы, тут же застывавшие на студёном ветру. Но она чувствовала, что идёт по твёрдому полотну дороги, мысленно представляя каждый её поворот, каждую ложбинку. Осталось пройти самое страшное место — лощину. Дорога в этом месте спускалась под горку, где в самой низине под землёй была проложена труба для стока весенних вод, а дальше опять шла в гору. Летом по сторонам дороги стеной росли подсолнухи. Ребятишки боялись ходить здесь поодиночке, да и взрослые иногда тоже ускоряли шаг: а вдруг в трубе поджидает какой-нибудь лихоимец?..

Она благополучно миновала лощину и поднялась на взгорок. Теперь уже и до хутора недалеко. Метель между тем усилилась, и девочке казалось, что она идёт как в молоке. Вдруг метрах в десяти

от неё большая белая собака перебежала дорогу. Девчушка испуганно остановилась: волк? Нет-нет, волк серый, она однажды видела. Их сосед, охотник, застрелил волка, и ребяташки бегали посмотреть на страшного зверя. А это просто собака — правда, незнакомая. Значит, уже недалеко хутор, скоро покажутся огромные старые тополя, росшие на развилке. Тут она увидела ещё одну такую же собаку, появившуюся в том же месте, где и первая. Она также перебежала дорогу, не обращая никакого внимания на девочку. За ней через некоторое время — ещё одна, и опять же с того самого места, и потом ещё одна, а может, были и другие, она не видела. И хоть собаки не трогали её, она внезапно почувствовала такой ужас, что бросилась бежать со всех ног: скорей, скорей домой, к маме!

Дома её ждала беда. Отца, неделю назад уехавшего в город, нашли охотники, случайно наткнувшиеся в лесу на замёрзшее окровавленное тело.

С тех пор, стоило ей только увидеть больших белых собак, перебегавших дорогу, она знала, что это не к добру. Слава Богу, в последнее время это происходило довольно редко. И вот опять они.

Быстро темнело. Мело всё сильнее, навстречу изредка проносились автомобили, но самих машин не было видно, только жёлтые пятна фар мелькали на мгновение в белом месиве.

Временами метель чуть-чуть стихала, и тогда она видела кусты по обочинам дороги, телеграфные столбы, дорожные указатели. До города осталось ровно сто километров.

На остановке, отворачиваясь от ветра, стояли две фигуры. Тереза Ивановна, резко затормозив, подъехала к ним, распахнула дверцу: садитесь. «Нам в Первомайское», — еле шевеля замёрзшими губами, сказала старшая женщина. Младшая, девчонка лет пятнадцати, в кургузой синтетической курточке, в стареньких джинсах, не могла вымолвить ни слова, всю её сотрясала крупная дрожь.

В Первомайское! Придётся крюк сделать, не оставлять же людей замерзать. Дорогу-то, наверное, совсем замело, мелькнула мысль. «Сколько до вашего Первомайского?» — «Пятнадцать километров, — старшая нерешительно держалась за дверцу. — Да вы нас до поворота довезите, а там мы уж сами». — «Давайте-давайте, садитесь быстрей. Сами! Там у меня в сумке термос с горячим кофе, — сказала она женщине, — доставайте, там и стаканчики есть. Немного согреетесь, а то не довезу вас».

Видя, что они стесняются, остановилась, налила им горячего кофе, сама хлебнула глоток-другой. Надо бы достать шубу (белый офицерский полушубок лежал у них в багажнике и зимой, и летом, так, на всякий случай), а то ведь совсем закоченели, подумала она, но не стала останавливаться: дорога была ужасная, а вернее, её совсем не было.

Была уже ночь, когда она, отдохнув немножко в тёплой деревенской избе, отправилась назад. Женщина уговаривала её остаться на ночь: вон как воев за окном, а дорога вы сами видели каков...

Машина с трудом пробиралась сквозь заносы. Кругом темень, на небе ни звёздочки, ветер ревет, как раненый медведь. Ей показалось, что она проехала поворот на трассу, и она решила развернуться и поехать назад, искать этот поворот. Проехав метров триста, увидела, что никакого поворота не видно, и вообще, она, наверное, не полностью развернулась и едет теперь по полю. Она повернула назад и теперь уже сама не знала, в какой стороне дорога. Машина забуксовала, и сколько бы Тереза ни пыталась выбраться, колёса увязали в снегу всё глубже и глубже. Надо попробовать откопать. Она открыла багажник — лопаты там не было. Не было и шубы. Жаль. Придётся, видно, заночевать в поле, и шубейка бы пригодилась. Ну ничего, в машине тепло, не замёрзнет. Хотела позвонить мужу, чтоб не беспокоился, но телефон оказался разряженным. Ну не везёт так не везёт! Она выпила остатки кофе, уже остывшего, так как впопыхах забыла закрыть термос, включила радио и закрыла глаза. Очнувшись от холода. Радио молчало. Не урчал мотор. Что такое? Она взглянула на датчик: стрелка стояла на нуле. Было два часа ночи. Над полем по-прежнему бушевала пурга.

Она всегда подсмеивалась над мужем, возившим в машине шубу даже летом: замёрзнуть боишься? Но смеётся, как известно, тот, кто смеётся последний. Шубейка бы сейчас ой как не помешала! Конечно, муж смеяться не будет, а уж пропесочит как пить дать. Поехала чёрт знает куда и зачем! Мать Тереза, одним словом! Вот он всегда так: стоит ей кому-нибудь помочь, сразу — Мать Тереза! Обидеть хочет. А что обижаться, если она и есть Тереза?

С какого перепуга родители дали ей такое экзотическое имя, Тереза Ивановна так и не могла у них допытаться. «Понравилось», — смущённо твердила мать. «Ну как оно могло понравиться? Где ты его вообще выискала?» — приставала Тереза, но мать только отмахивалась. Вроде и время, когда детям давали невообразимые имена, давно миновало, а вот на тебе! Сколько ей пришлось с этим именем помучиться в детстве — ужас! Сверстники сразу же приклеили кличку «Тереза-дереза», а потом и вообще сократили до «Козы». Так и проходила все десять лет «Козой».

Да и потом, уже во взрослой жизни, люди, услышав её имя, невольно улыбаются: ну каков она Тереза?! Наташа, или Света, или Маринка — это бы ей подошло, а Тереза...

Когда в мире стало широко известно имя Матери Терезы, естественно, она тут же превратилась в Мать Терезу, и уже, по всей видимости, навсегда. И хоть никакой общественной деятельностью она не занималась, была известна только у себя в городе, но всё-таки многие черты великой подвижницы были присущи и ей. Стоило ей

услышать, что кто-то из друзей, знакомых или вовсе незнакомых в чём-то нуждается, она тут же подключалась и энергично принималась помогать. Даже когда её не просили. И чаще всего так и было...

В машине становилось всё холоднее. Зубы начали выбивать дробь. Она хотела пошевелить пальцами, но они не слушались. Сильно замёрзли ноги. Эх, надо было надеть валенки. Да куда там, в город еду, какие валенки! А в них даже на зимней рыбалке ногам тепло. Сидишь над лункой часами — и хоть бы что... И сейчас вот как они, валеночки, греют, как в них уютно... Тепло поднимается по ногам к животу, к груди, жарко, хочется распахнуть куртку... Она с друзьями в таёжной избушке, в печке трещат дрова, на плите в большой чугунной сковороде шкворчит масло, по кухне плывёт умопомрачительный запах жареной рыбы, на столе дымится горячая картошка, над кружками с чаем поднимается парок... Как в тумане доносятся голоса... Спать хочется... Как хорошо... Спать... спать...

Водитель скорой помощи громко чертыхался, с трудом пробираясь через заносы. Не могли дорогу прочистить, ругался он, тут делов-то — трактору один раз пройти! А ты мучайся, того и гляди, застрянешь. Ну, может, ещё и почистят, день только начинается, едва рассвело. Приспичило этой молодой с Первомайского рожать в такую погоду. Акушерка с фельдшером, уткнув носы в воротники, дремали, а ему то и дело приходилось выходить на мороз, расчищать снег. Вон впереди целый сугробище, ни проехать, ни объехать. Нахлобучив поглубже шапку и взяв лопату, он нехотя вылез из кабины... Мать честная, вот так сугроб! «Эй, — рванул он дверцу скорой, — там машина под снегом, а в машине женщина, замёрзла, видать».

Фельдшер, молодой парень, отодвинув охающую и причитающую акушерку, взял холодную безжизненную руку женщины, пытался нащупать пульс. «Да что там, готова уже, — хрипло сказал водитель. — Грузим в нашу или вызываем полицию?» Фельдшер не слышал его и всё сильнее прижимал пальцы к холодному запястью, пытаясь уловить хоть малейший признак жизни. «Есть! — вдруг громко вскрикнул он. — Есть пульс!..»

Вчера вечером неожиданно потеплело, снег стал мягким, влажным, в воздухе витал запах жареных подсолнечных семечек, как когда-то в детстве. Этим запахом было пропитано всё вокруг, когда ветер дул со стороны маслозавода, расположенного недалеко от их хутора. В детстве, бывало, сгрызёшь горсть семечек — и сыт. А в выходные вся семья соберётся вечером дома, кто читает, кто вяжет, и только слышно, как щёлкают и щёлкают семечки, и шелуха с лёгким шелестом опускается на чисто вымытый пол.

Здесь никогда никакого маслозавода не было, а семечками всё равно пахло. Странно...

Ночью даже пошёл дождь, мелкий, морозящий, но к утру опять подморозило, и сейчас на дороге было довольно скользко. Тереза Ивановна аккуратно объезжала наледи, с восхищением глядя по сторонам: такую красоту не часто увидишь даже в этих чудных местах. Деревья и кусты — все в инее, словно в белом кружеве, а оставшиеся с осени листочки на берёзах сверкают, как золотые монетки. Сколько раз она проезжала по этой дороге, но никогда такого не видела. Потом догадалась: ночью листья были мокрыми от дождя, а потом влага на них быстро замёрзла, поэтому они и блестят на солнце.

А вот сейчас, ближе к вечеру, никакой красоты уже не было. Мела позёмка, дорога почти от самого крайцентра была покрыта льдом. Машину занесло. Тереза с трудом вывернула руль, сбавила скорость. Встречных машин было мало, но всё-таки надо быть осторожнее.

Встречный ветер бросал в лобовое стекло охапки снега, дорогу быстро перемело.

Впереди что-то мелькнуло. Собака, кажется... Да нет, показалось... Точно, показалось, никакой собаки, наверное, это просто заснеженный куст...

На остановке, продуваемой всеми ветрами, с выбитыми стеклянными блоками-кирпичиками, стояли два парня. И куда они в такую погоду, сидели бы дома, сердито подумала она. Сразу заныли руки, обмороженные прошлой зимой, в ту памятную ночь...

Парни, завидев машину, замахали руками. Ни за что не остановлюсь, подумала она, вдруг какие-нибудь бандиты, стукнут по голове — и поминай как звали.

Тормознув, она приоткрыла дверцу: «Вам куда, парни?» — «До Уяра подвезите, пожалуйста!» — «До Уяра не могу, я вас на остановке в Ольгино высажу, а там сами как-нибудь доберётесь».

Пока доехали до Ольгино, быстро стемнело. Она высадила парней и пошла к павильону — выпить горячего кофе. Парни, подняв воротники, тщетно стараясь укрыться от пронизывающего ветра, пытались остановить какую-нибудь машину, поворачивающую в сторону Уяра, но машины проезжали мимо, даже не притормозив.

Она допила кофе, бросила стаканчик в урну. «Ну что, ребята, так и быть, поехали в ваш Уяр». Обрадованные парни быстро вскочили в машину.

«Миш, — позвонила она мужу, — ты не волнуйся, я немного задержусь, мне в Уяр надо заехать». — «Господи, — вздохнул в трубке муж, — что ты там забыла? Опять кого-нибудь надо подвезти? Понятно. Ладно, жду. Что с тебя взять? Мать Тереза — она и есть Мать Тереза».

Чмокнув в трубку, она нажала на стартер.

Евгения Зуева

## Танец журавлей

*Посвящается моей прабабушке Девятириковой Евдокии Михайловне  
и погибшему на фронте прадеду Девятирикову Максиму Андреевичу*

*Возвращайся, мой журавлик,  
Я буду тебя ждать...  
Слышишь?  
Буду...*

Плач Евдокии

Она коснулась своим серым крылом его крыла. Он вздрогнул и поклонился ей. Они вострепнулись и в нежном менуэте то взлетали, то снова оказывались на земле. Их мягкие крылья-покрывала сплетались в неповторимые птичьи объятия; их грациозные шеи тянулись к небесам, испачканным свежим соком спелой утренней зари. Они кружили, кружили, касались, встречались и расставались в парном птичьем танце. Удивлялось утреннее небо, как тонкие журавлиные ноги способны удержать прочность чувств и твёрдость намерений птичьих судеб...

Евдокии было почти сорок, когда она впервые увидела танец журавлей. Ранним весенним утром муж Максим привёл её в это тайное место, выбранное птицами для своих танцев. Она спокойно, но заворожённо смотрела на танцующих птиц. Максим сильными мужскими руками нежно держал её за плечи и ровно дышал в пучок волнистых, слегка дымчатых волос. У них за плечами уже было многое: суетливая деревенская жизнь, семеро непосед-детишек, повседневные планы, в которых и скрывалось их простое обоюдное человеческое счастье. Они не кричали друг другу о любви, как в романтических книгах, но они молчали о ней так громко, что это было слышно улетающим зимовать журавлям.

«Что бы ни случилось — всегда помни: журавли танцуют для нас...» — спокойно сказал Максим. Евдокия кивнула в знак согласия и снова устремила взор на танцующую пару птиц...

А потом... случилась война... Максим уходил на фронт: сборы были спешными, а прощание — сдержанным. Старшие дочери Шуручка и Маруся еле уловили в лице отца зарождающуюся слезу... Евдокия тихо плакала, они с Максимом никак не могли расцепить пальцы... Она коснулась своим крылом его крыла. Он вздрогнул и поклонился. Ей померещилось тихое: «Я вернусь...»

*Плачь, Евдокия, плачь... об ушедшем на фронт солдате; о тяжёлой доле народа русского; о погибших отцах, мужьях, матерях и детях; о потерянном цвете мирного неба... Плачь, Евдокия, плачь — пока молчат камни, пока немеют грозы, пока тяжело дышит земля... пока танцуют журавли...*

И что ей оставалось делать? Принять участь всех женщин, искалеченных войной, — научиться выживать и ждать. Как жалостлив был плач семерых детей; как пуст суп из крапивы; как приходилось питаться картофельными очистками; как холодны были зимние военные ночи — как не хватало слёз, и как согревали песни и горячий чай.

Вскоре на фронт ушёл сын Евдокии Николенька — молодой резвый юноша, только-только оперившийся журавушка. Соседи успокаивали: жди, Дуняша, жди, воротятся твои журавли. Как хотелось бы написать про скорый мир и про долгожданное возвращение близких людей, про радость встреч и счастливое завтра... Даже в годы войны Евдокия по весне ходила смотреть, как танцуют менуэт эти грустные птицы.

Как-то раз Дуняша увидела одиноко танцующего журавля, почувствовала недоброе, расплакалась... а через три дня пришло трагическое известие о гибели мужа Максима. Словами горе не передать. Война научила стойко переносить потери. Евдокия стала молчалива, куталась во влажную от слёз старенькую шаль, держала постоянно сцепленными пальцы, как бы молясь за того, кто отдал жизнь за их мир и спокойствие и кто никогда не вернётся. Известие о гибели сына Николеньки окончательно подкосило Евдокию. Слёз почти не осталось, надежды и веры — тем более, только любовь ещё существовала в её замутнённой горем памяти. Она перестала верить всем, даже журавлям, на которых надеялась в самые безысходные моменты.

*Смотри, Евдокия, смотри... как женщины ждут и надеются; как летят письма сквозь прожитые годы; как растут дети, выжившие в стальных объятиях войны; как строятся разрушенные дома... Смотри, Евдокия, смотри — туда, где даль спокойна и не изведена, туда, где глубина рек быстрых — бездонна, туда, где ветер неистовый... туда, где танцуют журавли...*

Послевоенное время было трудным, но счастливым. Люди привыкали к мирной жизни, заново учились радоваться, земля русская глубоко дышала воздухом Великой Победы. Деревню, где жила Евдокия, захлестнула волна свадеб. Невесты встречали вернувшихся солдат, чтобы вместе из нитей сложных судеб сплести узор человеческого семейного счастья. Память Евдокии постепенно оттаивала. Её старшие дочери Шуручка и Маруся вышли замуж, а журавли, как прежде, прилетали и улетали — и... танцевали. Постаревшая на полжизни, измученная горем русская женщина впервые после войны



отправилась на свидание с журавлями. Казалось, их танцы стали ещё нежней, а песни пронзительней. То ли потому, что Евдокия давно не наблюдала этого природного зрелища, то ли потому, что вспоминала своих погибших журавликов.

Это стало для неё традицией — каждую весну приходиться на знакомое место для встречи с журавлями и своей памятью. Она стала брать с собой своих младших детей — дочку Евгеньеньку и сына Ваську; они были крохами, когда погиб Максим, и почти не помнили его. Женя держала маму за руку и также заворожённо глядела на пару серых птиц, слушая рассказ мамы о журавлях. Резвый Васька не мог усидеть на месте, он был ещё мал, и ему трудно было проникнуться моментом.

Непросто сложилась дальнейшая жизнь Евдокии. В результате бытовой травмы она ослепла. Раньше наблюдение за птичьими танцами было для неё отдушиной, визуальным кусочком доброй памяти, а теперь и этого не стало. Казалось, нитка воспоминаний вот-вот оборвётся.

Но человек ко всему привыкает и находит для себя то, что будет греть его душу. Евдокия доживала свою тихую жизнь у старшей дочери. Она начисто выметала избу, варила любимую перловую похлебку Максима и вслушивалась в грустные журавлиные песни. То, что память не может увидеть, она всегда сумеет расслышать...

Евдокия почти никогда не молилась Господу. Она отправляла свои мольбы журавлям и просила у них защиты. Однажды деревенские мужики подстрелили вожака в журавлиной стае. Птицы сели на землю и без него не смогли лететь. «Не стреляйте в журавлей. Я не вынесу ещё одной раны на своей памяти», — тихо просила плачущая женщина. Часто ранним утром она выходила, садилась на крыльцо и плавными волнистыми движениями тянула руки к небу. Вставшие спозаранку грибники могли видеть одиноко сидящую на крыльце пожилую женщину, протягивающую руки к небу и ждущую ответное журавлиное крыло...

*Слушай, Евдокия, слушай... отголоски военного грохота; стоны искалеченных судеб; траурные вздохи измученной памяти; тихие голоса выжившего народа русского... Слушай, Евдокия, слушай... былинны дождевых капель, сказания тёмных болот, золотистый смех животворящего солнца... и грустные песни танцующих журавлей...*

В октябре 1987 года Евдокия умерла. А в нашей семье появилась традиция: все девочки, девушки и женщины весной идут смотреть на танцы журавлей. Это способ сказать спасибо всем тем, кто отдал свои жизни войне, за наш сегодняшний мир; это дань, которую мы отдаём русской женщине, восхищаясь силой её характера, мужеством, стойкостью и неумирающей любовью; это наша память, которая не умрёт никогда — пока живут люди; пока любят женщины и мужчины; пока танцуют журавли...

Помни, Евдокия, помни... стук сердца погибшего солдата; вкус чёр-  
ствого чёрного хлеба; холод зимних военных ночей; скорбные лица  
народа горемычного... Помни, Евдокия, помни... как встаёт земля  
русская с колен ослабленных, как встречают люди со слезами на  
глазах победу долгожданную, как молятся за ушедших небо синее,  
реки тихие и слово людское... как для тебя танцуют журавли...

Плачь, Евдокия, плачь...

*Красноярск, 2015*

Сергей Кузнечихин

## Исторические заметки

### 1. Из истории войн

Патроны в патронниках, пушки нацелены,  
И сабли из ножен...

Лютует война,

Где жизнь человека совсем обесценена

И жутко, как опухоль, вздулась цена

На мыло. Но если молвою отмечено,

Что годен на мыло, допустим, судья,

То, значит, пригодна и вся человечина,

И нет на войне дефицита сырья.

С чего же тогда несгораемый лавочник

Не снизит цены? После чада и тьмы,

Он знает, что выползет много желающих

Скорее и тщательней руки отмыть

### 2. Из истории летописей

Диктуемый историей диктант

Грубейшими ошибками усеян

Не потому, что писарь дилетант,—

Он грамотен, прилежен, не рассеян,—

Но голос у истории невнятен.

Обилью чёрных дыр и белых пятен

Нетрудно вызвать слуховой провал.

Плюс чехарда меняющихся правил,

За коей писарь вряд ли поспевал.

Пришёл корректор, кое-что исправил.

А писаря сменили, расстреляли.

Немного позже поняли, что — зря.

И новые ошибки добавляли

В диктант уже другие писаря.

### 3. ИЗ ИСТОРИИ РЫНКА

«Бой в Крыму, всё в дыму».  
«Битва негров в тоннеле».  
Кто — кого? Что к чему?..  
Восхищались и не краснели,  
Зная точно, что *чёрный квадрат*,  
Кроме прочего, — плагиат.

Кабала — ремесло,  
А художник — невольник.  
Был у Пола Било  
*Чёрный прямоугольник*  
До Малевича лет за тридцать.  
Не побрезговал повториться.

Трус боится любой беды.  
Дерзкий выпьет на риск отравы.  
Если праведные труды  
Не сулят барышей и славы —  
Значит, серое вещество  
Провоцирует воровство.

Мало знать, что и где украсть,  
Как хитрей обойти препоны.  
Рынок — это иная власть:  
Проще нравы, сложнее законы.  
Там-то и попадает в клещи  
Вещь, а с ней и хозяин вещи.

Смысл и качество не важны,  
Чтобы зритель ломился в залы.  
Регулируют рост цены  
Адвокаты и зазывалы,  
У которых особый дар —  
Пустоту превращать в товар.

#### 4. ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДАТЕЛЬСТВ

Нельзя рядовую простуду  
Рядить в роковую болезнь.  
Азеф презирает Иуду  
За то, что в петлю он залез.  
За то, что расценки занижил,—  
Клянёт и порочит его.  
Тому, кто душевнокапризен,  
Средь избранных мира сего  
Не место. Лишь мастер, рискуя,  
Петлю превращает в аркан.  
А всех слабонервных — в людскую,  
К романтикам и дуракам.  
И мало того, что ты рыжий  
И чёрен нутром, аки тать.  
Предать для того, чтобы выжить.  
Не вешаться, а процветать.

#### 5. ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Когда добрался Брежнев до руля —  
Явил талант, припрятанный до времени,  
Издal свой опус «Малая земля»  
И сразу стал лауреатом премии.

Чернил с бумагой Черчилль не жалел  
И, как политик многих убедительней,  
Вторую мировую одолел  
Одним из первых в списке победителей.

И отчитался письменно о ней,  
За что гиганту мысли уподобили.  
Не кто-нибудь, а сам Хемингуэй  
Был на год отодвинут им от «Нобеля».

Толстой не смог подняться на волну,  
Не вышел ни в стилисты, ни в спасатели.  
Вот если б Гитлер выиграл войну,  
Попал бы в величайшие писатели.

## 6. ИЗ ИСТОРИИ ТОПОГРАФИИ

Прорехи чтоб заштопать  
И дыры залатать,  
Топограф должен топтать,  
Все лапти истоптать.  
По топям и оврагам,  
Не огибая гор,  
Обязан шаг за шагом,  
Всем умникам в укор,  
Лежащим по полатам,  
Их домыслам взамен,  
Хотя бы даже лаптем,  
Но выполнить замер.

## Софья Григорьева

\* \* \*

О, песни цыган... Щемит,  
тревожит горькая радость.  
И снова скрипка звенит,  
встречаются Лойко с Раддой.

Я школьный урок ловлю —  
как мы цитируем бойко:  
«Свободу-то я люблю  
сильней, чем тебя, Лойко!»

Урок... Это ж был урок!  
Его бы тогда усвоить...  
Счастливей бы стал итог  
у нашей встречи с тобою.

Как к солнцу, к тебе росла,  
души потайные клады  
к твоим ногам принесла,  
ни разу не вспомнив Радды.

И — сброшены два крыла,  
и словно споткнулись ноги,  
и бабья тропа легла  
от печи и до порога.

Но жертвы, ещё любя,  
забыть не хочу, не скрою,  
и тщетно корю себя  
заблудшей цыганской кровью.

И если губы разнять,  
я б смертным криком кричала:  
«Ой, лучше бы ты меня  
зарезал тогда, сначала!..»



\* \* \*

И оно вернулось домой...  
Шлёпнул штамп бесстрастный почтаamt:  
«Не востребовано». Письмо  
не востребовано. Вот так!

Лился мне в раскрытую горсть  
писем розово-тёплый свет...  
Это было — гордость и горесть,  
это было. Но больше — нет!

Как же дальше мне жить, почтаamt?  
Научи, подскажи, мой бог!..  
Эта истина так проста:  
не востребована любовь.

\* \* \*

Всего вчера как будто  
сказал ты мне, скорбя:  
«С тобою так же трудно,  
как трудно без тебя».

И увела другая —  
попроще, поясней.  
И я сто лет не знаю,  
как вам живётся с ней.

И я сто лет тоскую,  
сто лет такого жду,  
кто бы меня, такую,  
не принял за беду.

Чтоб стала счастьем трудность,  
закованность моя,  
чтоб нежность или грубость —  
всё не кончалась я...

Я жду... А в сердце трубы  
задушенно трубят...  
Мне так с собою трудно.  
Куда ж мне от себя?!

\* \* \*

То ты уезжаешь, то я уезжаю,  
то ты провожаешь, то я провожаю.

Работа ль такая? Судьба ли такая?—  
то ты уезжаешь, то я уезжаю.

Тебе там взгрустнётся — и мне станет больно.  
Один улыбнётся — и оба довольны.

Ты только не плачешь. А я вот — бывает...  
Но ты телепатишь: «Встречай, прилетаю!»

Иль шлешь мне по почте весёлый излишек,  
а пишешь полстрочки: «Целуй ребятишек...»

### ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ

Друзья улыбки мне притащат  
и несерьёзные слова:  
ведь я вдова не настоящая —  
соломенная я вдова.

Мой беспокойный изыскатель!  
Ты так отчаянно далёк.  
На карте, посланной как скатерть,  
твой лагерь — крохотный флажок.

И ты, суровый, на портрете,  
бокал вина перед тобой...  
Вот так в который раз отметим  
мы нашу странную любовь.

В краю за синими ветрами,  
где дом наш — крохотный флажок,  
есть мой портрет, и спирт, и праздник,  
и телеграммы бодрый слог.

И ты нескорой встречей бредишь.  
Нас слёзы нежности слепят.  
И я дождусь. И ты приедешь.  
И мы... поссоримся опять!

\* \* \*

Ты мне сказал: «Уезжай. Не помру».  
Врезалось в память: стоишь на ветру.  
Крикнула звонко: «И я проживу!»  
Всё это было. У нас. Наяву.

В лунную ночь не прикрою глаза:  
кто же кого же у нас наказал?  
Я без тебя не грущу и не плачу —  
я без тебя ничего не значу...

\* \* \*

Всегда удивляюсь встрече:  
так просто мимо пройти...  
Я помню декабрьский вечер,  
тебя на моём пути.

Как будто ветер весенний  
дохнул посреди зимы,  
и нет с того воскресенья  
тебя и меня — есть *мы*.

Но адрес у встречи — Сора,  
и, словно агент её,  
меж нами кривлялась ссора  
с подсказкой «твоеё», «моё»...

Кому поверили? Соре!  
Мол, бросить, забыть — пустяк...  
Но горько открыли вскоре,  
что друг без друга — никак,

что прошлое не забыто,  
что должен гореть очаг —  
и это моя забота,  
и это моя печаль.

\* \* \*

В будничный счёт — праздничный взнос.  
Сердце ж — как будто навывлет.  
Это, неожиданный, ты произнёс:  
«Дико хочу тебя видеть».

Не колокольный. Не перезвон —  
просто звонок телефонный.  
Ах, на колени что за резон  
падать мне, как пред иконой?

Трубкой притисну к жару щеки,  
к уху, к губам эту фразу...  
Грубых таких, нежных таких  
я не слыхала ни разу.

Я не пойму, и ты не поймёшь...  
Только сорвутся дыханья.  
Ты, как над бездной, провод сожмёшь.  
Голос мой дрогнет за гранью...

Что там, за ней? «Да» или «нет»?  
Долгие дни нашей дружбы?  
Спрячусь за шутку. Дескать, и мне  
дикости также не чужды...

\* \* \*

О, как это просто —  
однажды понять, успокоясь,  
что стать надо взрослой  
и сесть в одиночку на поезд.

Подскажут колёса  
итог мне: «О-шиб-ка, о-шиб-ка...»  
О, как это просто —  
решить, отрешиться, решиться.

На память о прошлом —  
лишь фотоальбом в чемодане.  
О, как это просто —  
отрезать дорогу к свиданью.

И нет ни вопроса.  
Лишь мысли о будущем вольном...  
О, как это просто.  
Но, Боже мой, как это больно...

\* \* \*

Ты уходишь. То есть я ухожу...  
То есть даже навсегда уезжаю.  
Но щадящую наводим между —  
постепенно, не ропща, провожая.

Ну, поднёс к стоянке мой чемодан.  
Ну, в такси к вокзалу рядышком едем.  
Из купе не вышел — что за беда?  
Кто укажет нам, где миг тот последний?!

И под стук колёс глядишь на меня  
воспалёнными сухими глазами...  
Кабы волю — ты б вскочил на коня,  
и схватил меня, и крепко связал бы.

Только надо нам понять, что — конец,  
ни коня не ждать, ни скорую помощь.  
Не напишешь. Не приедешь ко мне.  
Не придёшь. Не позвонишь. Не напомнишь.

Полустанок... Полустоном: «Пора!»  
Спрыгнешь ты. А я застыну у края.  
Но упорно не замечу стоп-кран:  
от любви в наш век не умирают...

## ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ-2

Чудно дремлетса возле «ящика»,  
и не надо меня будить:  
из соломенных в настоящие  
каково-то переходить!

А во сне я опять «зелёная» —  
вот невеста, а вот жена.  
Я любимая, я влюблённая,  
я надёжна, я неверна.

...Километры летят и месяцы,  
убывает огонь в очах.  
Дети плачут, смеются, бесятся,  
и горит семейный очаг...

Истекает тысячелетие.  
За окошком висит луна.  
Я очнусь. Никто не ответит мне.  
Одна...

\* \* \*

Потеряла я себя, не нахожу.  
Не найду себя ни летом, ни зимой.  
Только шёпотом затравленно твержу:  
«Дорогой мой, дорогой мой, ты не мой!»

Я и верю, и не верю: есть ли ты?  
Не лукавый ли пригрезился во сне?  
Были зимние огромные цветы?  
Показалось ли, смятенной, это мне?

Тёплым лучиком сиял в руке большой  
медальон сердечком? Сердце ли моё?  
Да цепочка... Я же помню: ты ушёл,  
с головы до ног закованный в неё.

Я слепа была? А может, ты ослеп?  
В плен ты взял меня или освободил?  
Мне на память, точно бинт, ложится снег,  
мельтешат над нею жёлтые дожди.

Только помню, помню тоненькую цепь.  
Хохочу, пою ли, плачу ли — плачу!  
Только имя, будто в голод горький хлеб,  
затаившись, отвернувшись, проглочу.

Только имя не промолвлю, не скажу,  
не пущу его, незваное, домой...  
Я найду себя, вот только отвержу:  
«Дорогой мой, дорогой мой, ты не мой!»

## Дарья Лысенко

### О РУСАЛКАХ

Спаси меня. Мне холодно и страшно. Я, кажется, вот-вот пойду ко дну. В такую даль заходит лишь отважный — не оставляй же здесь меня одну. Не оставляй, вода не отступает. Мне? В мокрым платье? Выплыть? Ни за что.

*Смотри, герой, я рыжая какая.*

*Смотри, герой, ты тоже не святой.*

Смотри, герой: ты убивал немало, твой путь расчерчен всполохами стрел, и, если вдруг забавы не хватало, ты бил и грабил — после пил и пел. Смотри, герой: какие тут надежды на что-то, кроме ада, могут быть?

*Исправь грехи. Не будь таким, как прежде.*

*Спаси меня. Мне без тебя не жить.*

Спаси меня. Воды — почти по горло, и ноги вязнут в иле, там, на дне. Я выбилась из сил, я так замёрзла — и никого, кто руку б подал мне! Я так хочу туда, где просто сухо, где нет воды, где ты и твой костёр...

*Давай, дурак, протягивай мне руку —*

*Покормишь рыб. Повеселишь сестёр.*

\* \* \*

Руки холодные. Руки горячие.

Две меня. Вот такая гадкая.

И смеюсь заодно, и плачу я —

Я и горькая, я и сладкая.

Я и сильная, я и слабая,

Я и нежная, и жестокая.

Я взлетаю, и я же падаю,

Птица вольная, одинокая,

Я к неволе Тобой приучена —

Я, домашняя, в небо пущена!

А на сердце клеймо ведь выжжено —

Две меня. Хоть одна бы выжила.

\* \* \*

Штурвал ломался в дрожащих пальцах, горячий пот заливал глаза. Открытый космос — не место танцам. Метеоритные пояса таили в каждом свою опасность, чертили ломаный свой пунктир... Вас было шестеро. Лучших, ясно? Шестёрка лучших, спасавших мир.

Шестёрка лучших — навстречу тайнам, навстречу славе в конце пути. Вы были избраны не случайно. Вы были избраны всех спасти: найти среди темноты планету, что всем заменит привычный дом (раз мы так лихо сломали эту в погоне вечной за ерундой).

Земля разрушена в полной мере, а значит, нужно искать отход... Расчёт был тысячу раз проверен: шестёрка лучших, надёжный борт, запасы пищи, воды, надежды, минувших страхов, грядущих дел. Ты доверяла расчётам. Прежде. Теперь ты знаешь: в них был пробел,

была ошибка, была промашка — теперь не важно, как называть. Теперь ты знаешь — другое важно: как быть, что делать, куда бежать?.. Прошло в полёте два полных года, но новый рапорт в руках твоих гласит, что — Боже мой — кислорода едва ли хватит на шестерых.

Вот если б было бы вас по списку хотя бы пятеро, то тогда... А путь неблизкий, ещё неблизкий, и время тянется, как вода. И нужно что-то, наверно, делать, тебе положено выбирать, как капитану (ну, будь же смелой!), кому достанется умирать,

кому достанется оставаться и быть героем: виват, герой! Штурвал танцует в дрожащих пальцах, но всё приходит само собой. На самом деле, решение просто: кто выбран главным, тому... Приём! ...И ты шагаешь в открытый космос — и навсегда остаёшься в нём.

И пылью звёздной — в твои ресницы, и тьмой без воздуха — прямо в грудь, и сердце больше не будет биться, но ты сама выбирала путь. Ты станешь чудом и станешь светом, а после новости протрубят:

Пятёрка лучших нашла планету —  
И назвала её в честь тебя.

\* \* \*

Страшно смотреть в окно и в календари —  
Время летит быстрее, чем ты хотела.  
Вот тебе десять, а вот уже двадцать три,  
И двадцать шесть, да только душа внутри  
То ли моложе,  
То ли старее  
Тела.



Время летит, в ладонях шурша песком:  
Вот ты идёшь в свой первый — цветы, косички,  
Вот ты в десятом — объект нелюбви физички,  
Вот в универе вставляешь в глазницы спички,  
Чтобы к утру домучить четвёртый том.

С каждой страницей — время идёт, идёт,  
Неумолимо, линейно и безвозвратно.  
Горькой полынью и привкусом жвачки мятной,  
Пахнешь парфюмом «Дольче» и сладкой ватой,  
В венах твоих — и плачется, и поёт.

В венах твоих бушуют вино и чай,  
Смесь коньяка с какао — какая гадость!  
Детская непосредственность и усталость  
Самых разбитых взрослых тебе достались  
Одновременно.  
И нелюбовь скучать.

Страшно смотреть в окно и в календари —  
Время летит быстрее, чем мысль о лете.  
Вот тебе десять, а вот уже двадцать три,  
И двадцать шесть, и что-то щемит внутри.

Вечный ребёнок,  
Ты старше, чем все на свете.  
.....

А время летит — всё так же — неумолимо,  
И годы уходят, пожары сменяя стужей.  
Я помню твой запах, и это невыносимо.  
Я помню твой голос, и, кажется, это хуже.

Ты в каждом прохожем, и в каждой случайной фразе,  
И в книгах, и в фильмах, и в песнях, и в поворотах.  
Ты снишься мне часто — большее от раза к разу,  
Ты снишься мне часто — всё чаще от года к году.

Ты снишься и мельком, и даже полнометражно,  
И все эти сны пора представлять к наградам,  
Ведь время летит — неистово, быстро, так же,  
И годы уходят, но ты остаёшься... Рядом?

Ты в каждом прохожем, машине, окне, витрине,  
В единственной туче и через дорогу луже.  
Везде и нигде. И это невыносимо.  
Но если б не так, то было б намного хуже.

\* \* \*

Ты берёшь меня — и откладываешь на потом:  
Послезавтра, после обеда, на той неделе,  
Если станет на пару градусов потеплее,  
Если к пятнице поулягутся чуть метели,  
Если наши возьмут победу в прыжках с шестом,

Если будет в четверг доделан вон тот отчёт  
Или кофе остынет медленней, чем обычно,  
Ты напишешь мне смс-ку. Куда там, «лично».

«Как дела?»

«Хорошо. У тебя?»

«У меня — отлично».

Восемь слов — это даже больше, чем нужно в год.

Восемь слов — и да не случится ни с кем чудес  
Или армагеддонов, кому что ближе.  
Я не стану писать, что я не собираюсь выжить,  
Что давно тебя больше — серьёзно — ненавижу,  
И не то чтобы мне так страшно бывало без.

Ты не станешь писать, что уютен твой новый дом,  
Что без колких и хрупких в нём стало куда светлее,  
Но ты всё же скучаешь, вот честно, на самом деле,  
Всё пытаешься вспомнить — чего мы тогда хотели,  
Грея руки друг друга под августовским дождём,

Всё пытаешься вспомнить, но это — как море вброд:  
Перейти невозможно — и это почти привычно.  
Ты напишешь мне смс-ку. Куда там, «лично».

«Как дела?»

«Хорошо. У тебя?»

«У меня — отлично».

И решительно ничего не произойдёт.

## СУДЬБЕ

Нелегко быть куклой в твоих руках.  
Вместо глаз — кресты, вместо сердца — прах,  
Не душа — опилки и старый хлам,  
Вместо вольных крыл — две руки по швам.  
Вместо ста друзей — сто таких же в ряд.  
Все крестами смотрят, и все — молчат.  
Я за редкий дар пред тобой в долгу —  
Ведь одна из всех говорить могу.

\* \* \*

Свет мой, зеркальце, скажи,  
Да всю правду доложи:  
Он скучал по мне хоть каплю,  
Хоть на глубине души?

Он искал меня по блюдцу  
В чужеземных городах?  
Он просил меня вернуться  
В полуночных горьких снах?

Он не спал и не обедал,  
Отказавшись от всего,  
Пока кто-то не поведал,  
Как развеять колдовство?

Он сумел разведать тайну?  
Он ведь спас меня? Он сам?  
Я спала в гробу хрустальном,  
Шла в лохмотьях по лесам,

Я была морскою пеной,  
Зверем диким, просто жуть.  
Свет мой, зеркальце, наверно,  
Ты напутало чуть-чуть?

Как он мог смеяться, кушать  
(с чудо-блюдца!), сладко спать?  
Свет мой, зеркальце, послушай,  
Как он мог не вспоминать?

Как он мог забыть и выжить,  
Пережить — и не спасти?  
Свет мой, зеркальце, но ты же —  
Только правду... Что, прости?

Как он мог — и как он может? —  
Сам меня заколдовать?  
Свет мой, зеркальце, ну что же,  
Я прошу тебя не врать.

Свет мой, зеркальце, ты правду,  
Только правду доложи.  
...Свет мой, зеркальце, не надо.  
Эта правда — хуже лжи.

\* \* \*

Может быть, на его планете даже время течёт иначе —  
Целый год ничего не значит, и вся жизнь ничего не значит.  
И пока он там чистит зубы или, не приведи, рыбачит,  
Здесь успеешь купить квартиру и, к примеру, отстроить дачу.

И пока он там чистит зубы, убирает в стаканчик щётку,  
Ты успеешь на жизнь все планы расписать максимально чётко:  
Отучиться, найти работу, чтоб зарплата не ниже сотки,  
Не скучать по нему, конечно, научиться плясать чечётку,

Записаться в бассейн и фитнес, за границу продать картину,  
Написать свой роман-бестселлер — на три тома, не очень длинный,  
И влюбиться, и выйти замуж, и родить непременно сына,  
А потом непременно дочку — скажем, Дмитрий и Катерина.

Воспитать их, дождаться внуков, снять кино по своим мотивам,  
С первой пенсии — дом у моря, чтобы ноги купать в приливах,  
Любоваться высоким небом и, конечно, стареть красиво,  
Не скучать по нему, ты слышишь, доживать свою жизнь счастливой.

Умирая в своей постели, здравомыслящей, мудрой, зрячей,  
Помнить: жизнь не была ошибкой, а, скорее, была удачей.

...Так уж вышло: в его Вселенной даже время текло иначе.

Он вернулся.  
К твоей могиле.  
Через пару веков.  
И плачет.

\* \* \*

Это малость сложнее, чем просто «забудь, не плачь».  
Время — лекарь неважный, зато неплохой палач.  
Время — танец на грани, сквозь пальцы песок, вода,  
Где-то между «давай сегодня» и «никогда»,  
На границе с «на старом месте» и «нет, нигде» —  
Я ищу тебе в каждой упавшей с небес звезде.  
Я ищу тебя в каждом — вокзале, окне, такси,  
Хотя есть вариант попроще — узнать, спросить,  
Написать, позвонить, подумать, найти во сне,  
Наконец-то запомнить: ты навсегда во мне.  
Улыбнуться кудрявой туче, заснуть в авто,  
Зачеркнуть на полях блокнота, что всё не то,  
По соседству мазнуть портретом: давай дыши!  
На живую — без обезбола — вот так зашить  
И смотреть, как белеет медленно старый шрам,—  
Это малость сложнее, чем просто... Чего уж там,  
Даже если уже считаешь, что всё, спасён,  
Забывать о тебе — это малость сложнее, чем всё.

## Людмила Гайдукова

### СКРИПКА

О. М.

Всего и делов — тетивую струна,  
скользит по струне просто конский волос.  
Но откуда, скажите, летит она —  
волна, несущая Логоса голос?

Кто надоумил потомка Адама  
сладить с виду простое устройство,  
достал из факирского чемодана  
придумку такую волшебного свойства?

Или Создатель с прощающим вздохом  
звучание Рая вернул человеку  
и в дар преподнёс эту скрипочку-кроху —  
печальницу неба с певучею декой?

\* \* \*

Молодой метелицы — круговерть.  
Октября — стихающий звукоряд.  
Кому — час потехи, кому дело — смерть.  
И стихии без толку укорять.

Память-сипета — сантименты,  
их надрыв — в подробностях воскресит.  
Из фрагментов слепится кинолента...  
Не одобрят плёночку небеси?

И судьбой станцованный пасодобль  
снегопада вальс заметёт вот-вот.  
И напрасен вопль: «Отснимите дубль!  
Оператора упросите — стоп!»

## ФОНАРЬ

Наподобие хризопраза  
или царственной хризантемы  
ночами в квартале унылом  
расцветал и лучился фонарь.  
Он, днём неприметный для глаза,  
из тьмы вырастал тотемом,  
зависал трёхмерным светилом,  
подмешивал в мрак киноварь.

Выбегали из дыма и гама  
мы, с безбашенностью богемы,  
о ту пору вполне молодые.  
Нас веселье под звёзды несло.  
Косматился шар в тумане...  
Захмелев, забывали, где мы,  
и, завидев лучи цветные,  
вопили: смотри, НЛО!

И случайно иль неслучайно,  
но как-то так получилось:  
в пространстве спального серого  
наши души встретились вновь,  
как в начале времён встречались.  
И в веках между нами лучились  
обжигающие и легковёрные  
приятельство, дружба, любовь.

И фонарь, маяком из вечности  
вышагивающий навстречу,  
для нас становился причиной  
разговоров, стихов и картин.

Что мог знать он о бесконечности?  
Да и я навряд ли отвечу:  
неживой неон различим ли  
из тех мест, куда прочь улетим?

## ОХОТНИКИ НА СНЕГУ,

*или Брейгель, посетивший город Зеленогорск*

Январь фанатом одержимым всю ночь не спал —  
к подрамникам микрорайонов холсты крепил.  
Углы и кромки до утра стянуть не успевал  
столбами фонарей и светофоров — и тихо выл.

До звона белизны и глянца снега довёл,  
о визитёре грезил — и, в смятенье страшном,  
он ясно видел, как за рекой на холм взошёл  
с прищуром острым Питер Брейгель Старший.

Как будто вовсе тот не покидал сей белый свет:  
всё то же — небеса и птицы, собаки, хлопчет люд...  
У персонажей, как тогда, не различить примет.  
Разве повозки порезвей да у жилья костра не жгут.

И звуки голосов звучат, как вечной жизни гул.  
С хоров небес — хорал — гармонией нездешней —  
он раньше не слышал такой? — и головой тряхнул:  
«Ах да, ведь этот сочинитель жил гораздо позже!»

А кроны у деревьев незнакомых — так же прекрасны,  
и как узорчат, Боже, меж игольчатых ветвей просвет!  
О Питер, так, замерев, постой! Не уходи за властным  
январём, вослед своим охотникам, в новорождённый снег...

\* \* \*

*Л. Смирновой*

По ушедшим друзьям загрушу-затоскую несильно.  
Знаю: здесь или там — остаётся надежда на встречу.  
Вот опять у реки прохутился тулупчик носильный,  
всё свободней и громче её непонятные речи.

А назавтра по серой воде поплывут к Енисею  
небольшие клочки и обрывки одежд долгополых.  
И остатки снегов изойдут, как ушли фарисеи,  
из гудящего храма лесов, к обновленью готовых.

Жаль, невинности детства года чистоты не добавляют.  
Но, скорей, бытия протяжённость умножит печали.  
Прожитое — как тяжесть наследства ненужного — давит.  
Замер лес. Для него — жизнь, как год, повторится сначала.



\* \* \*

Такой мороз, что солнце за окном  
не диском, а расплывчатым пятном,  
белком, замешанным на ледяной опаре,  
глядится. В это тесто твой вбивает дом  
сибирский миксер в декабрьском угаре.

Взглянув с утра на спирта стойкий столбик,  
подумаю: абсурд — усилиями стольких  
отапливать сей неземной ландшафт,  
по всем параметрам к существованию — жестокий.  
И тут же туже затяну на шее шарф.

Зачем лететь за тридевять парсек,  
коль здесь загром — назначенный сусек —  
дарил сполна и зрелищем, и хлебом?  
И здесь ты наконец просёк: одно на всех,  
где б ни парил, — всегда одно над головою небо.

\* \* \*

*Всё лишь бредни, шерри-бренди,  
Ангел мой.*

О. Мандельштам

Слева от входа в витрине —  
билборд с Пэрис Хилтон в шляпе,  
ротик — ботоксной сливой,  
один глаз полями прикрыт.

Мне — в этакий вот ветрину —  
до супермаркета шлёпать,  
ей — созерцать с фотоснимка  
пурги леденящий взрыд.

Мне, ангел-Пэрис, — «Роллтон»,  
тебе — шерри-бренди, Хилтон.  
Пóлно! Завидовать гадко  
трэндам-брэндам, мошне!..

А знаешь, всё, дева, — бредни.  
Истина вовсе не в бренди.  
Бреду за настойкой сладкой  
рябины на коньяке...

## Рустам Карапетьян

\* \* \*

Развешены дни на верёвке.  
 Они уже высохли, но,  
 Как все сумасшедшие тётки,  
 Алиса выходит в окно.  
 Ей полночь приходится в пору,  
 И, сбросив щекочущий стыд,  
 Рыбёшкою в кроличью нору  
 Алиса сквозь время летит.  
 В глазах её хлюпают лужи,  
 Полно в голове облаков.  
 А сны её дальше и глубже  
 Любых оправдательных слов.

\* \* \*

Сейчас почти цейтнот,  
 А раньше время пело.  
 Такой был мир цветной,  
 Такой был чёрно-белый.  
 И реки, и холмы,  
 И первые аллеи...  
 На фотоснимках мы  
 И выглядим живее.

\* \* \*

Давали только тем  
 С конфетами кулёчки,  
 Чей папа был убит.  
  
 А мой отец был жив,  
 Хоть где и неизвестно.  
 И я его любил.  
  
 Но было всё ж обидно.

\* \* \*

Подарили мне планету,  
Я ухаживал за ней:  
Поливал обильно светом,  
Не жалел грибных дождей,  
Посыпал снежком полянки,  
Городил дремучий лес,  
Строил сказочные замки  
Для драконов и принцесс.

Что же я такого сделал,  
В чём же здесь моя вина,  
Что планета заболела —  
Началась на ней война?  
Я ей делаю уколы,  
Мысли грустные гоня.  
А она, дрожа от боли,  
Жадно верует в меня.

\* \* \*

Повязаны судьбой.  
К чему теперь вопросы?  
Не бойся, я с тобой,  
Ты ничего не бойся.

Всё лишнее уйдёт,  
Когда мы вступим в осень.  
Не бойся наперёд,  
Ты ничего не бойся.

Опавшая листва  
Лишь укрепляет корни.  
И первая звезда  
Излечит и напомнит,

Осветит мир земной  
И в суете, и в бозе.  
Не бойся, я с тобой,  
Ты ничего не бойся.

\* \* \*

Здесь так же душно и темно,  
Как до и после революций.  
И сквозь закрытое окно  
До сквозняков не дотянуться.  
Отсюда все давно ушли,  
И мухи бледные издохли.  
Лишь солнца луч стоит в пыли,  
Как зыбкий памятник эпохе.

\* \* \*

Улыбаясь всем широко,  
Он идёт, неся свой успех.  
У него развязан шнурок.  
И мы верим: се — человек.  
А навстречу Брежнев-Хрущёв  
Свой несут улыбчивый лик.  
Это тоже люди ещё,  
Но уже не с этой Земли.  
Стали звёзды ближе на миг,  
Словно крылья выросли, но,  
Чуть вздохнув обиженно, мир  
Снова нас утянет на дно.

\* \* \*

В Троию  
Входили по трое,  
Прикрывая друг друга.  
И казалось порою,  
Что тени к нам тянут руки,  
Что вот-вот грянут с крыши  
Стрелы дождём смертельным.  
Сердце дрожало мышью.  
А тут ещё эти тени...

Но обошлось. Проникли.  
Всё оказалось вздором.  
Без единого крика  
Вырезали дозоры.  
И, устыдившись страха,  
Липкого, как в могиле,  
Взяли мы город махом.  
И никого не щадили.

\* \* \*

Дело не в том и не в этом. А в чём?  
В том, что по-прежнему я увлечён  
Летом, и ветром, и небом бескрайним,  
Где даже явное кажется тайным,  
Где, коли взгляд сохранил ещё свет,  
С Млечным сливается ласточки след.

\* \* \*

Дворник улицу метёт.  
День.  
Неделю.  
Месяц.  
Год.  
А над ним струит эфир,  
А вокруг несётся мир.  
Стали цены выше ростом,  
Но зато зима теплей.  
Дети выросли до взрослых,  
Завели себе детей.  
Наступает океан.  
Сотрясает кучу стран.  
Пропадает самолёт.  
Дворник улицу метёт.  
А над ним струит эфир,  
А вокруг бушует мир.  
Стало как-то всё непросто  
От песков и до снегов.  
Дети выросли до взрослых,  
Превратились в стариков.  
Эпидемия бурлит.  
Долбанул метеорит.  
Пугачёва не поёт.  
Дворник улицу метёт.  
По асфальту мерно водит  
Он растрёпанной метлой.  
Ведь в любую непогоду,  
В день любой  
И в год любой  
Хоть и мусорится быстро,  
Всё равно должно быть чисто.  
Утирая честный пот,  
Дворник улицу метёт.

\* \* \*

Жизнь не оборвана? Жизнь не оборвана.  
Спустится полночь всезнающим вороном.  
Искрами звёзды слетятся к костру.  
Ветер коснётся невидимых струн.

Жизнь не кончается? Жизнь не кончается —  
Дети на скрипных качелях качаются.  
Рвётся сквозь камень упрямый пырей.  
С лаем резвятся щенки во дворе.

Жизнь продолжается? Жизнь продолжается.  
В небе прозрачном лицо отражается.  
Тронешь случайно лишь тенью руки —  
До горизонта помчатся круги.

\* \* \*

Упал барометр. В окно.  
Но жизнь прекрасна.  
Ведь навсегда теперь на нём  
«Предельно ясно».  
Пусть гром гремит, а этот чёрт  
Всё отрицает.  
Но мы-то верим: он не врёт,  
А прорицает.

\* \* \*

Насыпал густо  
Пусто-  
Ты.  
А ты  
Глянула  
Грустно.  
Ну прости.  
Я просто  
Хотел отпустить.  
А ты —  
До сердечного хруста,  
До сумеречной росы  
Держишь меня безыскусно  
В одной горсти.

\* \* \*

Забегай ко мне, мой друг,— поди, давно пора.  
Будем мы с тобой вокруг ходить да около.  
Не с плеча нам разрубать узлы и чаянья,  
Будем чаем заливать воспоминания.  
Будем долго говорить-недоговаривать,  
Будем песенки твои с моими сравнивать.  
И когда настанет время тёплых сумерек,  
Ты признаешься вдруг мне, что мы не умерли.

\* \* \*

Выпит до капельки, выжат, пуст  
И на судьбе распят.  
Серый волчок унесёт под куст,  
Скажет: расслабься, брат.  
Скажет: зла не держи на людей,  
Пойманных сетью снов.  
Скажет: не надо больше идей  
И непонятных слов.  
Ляг, отдохни, помолчи со мной,  
Поговорим потом.  
Выдохнешь хрипло: хочу домой.  
—Это и есть твой дом.

\* \* \*

Путь —  
Как пульс:  
То ровный,  
То прерывистый,  
То вдруг обрывается.  
А может, ты ещё помнишь,  
Как пересеклись наши пульсы?

## Виталий Неизвестных

### БАЙКИТСКИЙ СТАРОЖИЛ

Для кого-то вся жизнь в футболе.  
 Кто-то любит поесть до икоты.  
 У него же совсем иное,  
 Окромя основной работы.  
 То охота пуще неволи.  
 То рыбалка пуще охоты.

Были радости, беды, напасти.  
 Жизнь ломала и мяла бока.  
 Но, как прежде, две главные страсти,  
 Две судьбы — и тайга, и река.

### БАЙКИТСКИЕ «СТРАДАНИЯ»

Пустеют коровьи гаремы.  
 Разводит руками ковбой:  
 — В Байките с навозом проблемы.  
 В Байките исчез перегной.

Дела огородные скверны.  
 Супруга разводом грозит.  
 Молочно-товарная ферма,  
 Как павшая крепость, стоит.

Под крики:  
 — Навоза! Навоза!.. —  
 Под возглас:  
 — Даёшь парники! —  
 В живой и естественной позе  
 На грядках сидят мужики.

Сидят они, дело пытаются,  
 Надеясь на собственный зад.  
 Над лесом объекты летают,  
 И ангелы с неба глядят...



## МОНОЛОГ ОХОТНИКА

Год из года в конце сентября  
Просыпаюсь ни свет ни заря,  
Словно кто-то толкает меня,  
И хожу по избе без огня.  
Проверяю я свой провиант,  
Как учитель — контрольный диктант.  
А потом загорит горизонт —  
И собаки, почуяв сезон,  
Разочнут чехарду и скулёж.  
Видно, им, как и мне, невтерпёж.  
Уплыву, уползу, убегу  
В тайгу!..

\* \* \*

А над Байкитом снова снег.  
Он перевыполнил все планы.  
Дома соседние туманны,  
И от зимы спасенья нет.

Миллионы белых непосед  
Из тучки выскочить успели.  
Они — прислужницы метели,  
И от зимы спасенья нет.

Со счёта сбился — сколько лет  
Они летают и летают.  
От белизны глаза устали,  
И от зимы спасенья нет.

Какой же у весны секрет,  
Чтоб капли падали и пели?  
Я жду весны, конец апреля,  
И от зимы спасенья нет!..

## ДА И НО

Да, это важно — проверять  
Себя, друзей суровым бытом.  
Но зубы многих северян  
Подобны армиям разбитым.

\* \* \*

В Байките нет гранитных парапетов,  
Об этом скажет вам и стар, и млад.  
Пусть так, другое важно для поэта:  
К нам широтой привязан Ленинград.  
Когда по широте гуляют зимы  
И в сумерках почти не видно дня,  
Тогда различья больше ощутимы —  
Мороз наш с ленинградским не родня.  
Зимой в Байките холодно поэту.  
Чернила в ручке мёрзнут, в жилах — кровь.  
Но вот на широту приходит лето —  
И мысль поэта оживает вновь.  
С приходом лета исчезают ночи,  
И невозможно спать от светлоты.  
Я и не сплю, меня желанье точит:  
Как развести байкитские мосты?!

\* \* \*

Шумит таёжный океан.  
Стоит на путике капкан.  
Потом в посёлке в полдень хмурый  
Приёмщик принимает шкуры.  
— Гляди, товарищ, веселей.  
Язык — богат, ума — палата.  
Сдираем шкурки с соболей  
И называем мягким златом.

#### СЕВЕРНАЯ ВЕСНА

Бутылки — это компромат,  
Следы большой попойки.  
Не скажешь, что гулял олень  
Или резвился гусь.  
Неоспоримый аромат  
Оттаявшей помойки  
Вселяет в души северян  
Возвышенную грусть.

Гости альманаха «Енисей»

## Николай Зиновьев

\* \* \*

Не спалось, и я вышел во двор.  
Лип верхушки над крышей плясали.  
Хмель, как вор, на соседский забор  
Лез неспешно. И звёзды мерцали.

Лёгкий ветер мне дул в рукава,  
Еле тлела в руке сигарета,  
И кружилась слегка голова  
Оттого, что вращалась планета...

### В ХРАМЕ

Ты просишь у Бога покоя,  
И жаркой молитве вослед  
Ты крестишься левой рукою,  
Зажав в ней десантный берет.

И с ангельским ликом серьёзным,  
Неправый свой крест сотворя,  
Вздыхаешь: под городом Грозным  
Осталась десница твоя.

Осталась она не в граните,  
Не в бронзе, а просто сгнила.  
Стоишь. И твой ангел-хранитель  
Стоит за спиной. Без крыла.

\* \* \*

Меня учили: «Люди — братья,  
И ты им верь всегда, везде».  
Я вскинул руки для объятия  
И оказался на кресте.

Но я с тех пор об этом «чуде»  
Стараюсь всё-таки забыть.  
Ведь как ни злы, ни лживы люди,  
Мне больше некого любить.

\* \* \*

Не понимаю, что творится.  
Во имя благостных идей  
Ложь торжествует, блуд ярится...  
Махнуть рукой, как говорится?  
Но как же мне потом креститься  
Рукой, махнувшей на людей?..

### ОКНО В ЕВРОПУ

Я жить так больше не хочу.  
О, дайте мне топор, холопу,  
И гвозди — я заколочу  
Окно постылое в Европу.  
  
И ни к чему тут разговоры.  
Ведь в окна лезят только воры.

### БОГООСТАВЛЕННОСТЬ

*И в небесах я вижу Бога.*  
М. Ю. Лермонтов

Прохлада тянется из лога.  
Роса. Смеркается уже.  
И в небесах я вижу Бога,  
Который должен быть в душе.

\* \* \*

Солнце встало. Как и надо,  
Голубеют небеса.  
Похмельённая бригада  
«С матом» лезет на леса.

А прораб, слюнявя чёлку,  
Плотью чуя блудный гон,  
Голоногую девчонку  
Тащит в вахтовый вагон.

Истопник глядит и злится —  
И от зависти томится,  
Глеет «прима» на губе.  
А в котле смола курится...

Глянь, Господь, что тут творится.  
Это строят храм Тебе.

\* \* \*

Из всех блаженств мне ближе нищета.  
Она со мной и в летний день, и в стужу.  
Она тяжка. Но — тяжестью щита,  
Надёжно защищающего душу.

\* \* \*

На свиданье спешу ли с букетом  
Или просто бегу по делам,  
За столовским сижусь ли обедом  
Или в мыслях брожу по мирам,  
Шумно радуюсь строчке случайной  
Или молча сижусь у огня —  
Мне всё мнится: с улыбкой печальной  
Сверху кто-то смотрит на меня.

\* \* \*

У карты бывшего Союза  
С обвальным грохотом в груди  
Стою. Не плачу. Не молюсь я.  
А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,  
Касаюсь пальцами морей.  
Как будто закрываю веки  
Несчастной Родины моей...

\* \* \*

В степи, покрытой пылью брэнной,  
Сидел и плакал человек.  
А мимо шёл Творец Вселенной.  
Остановившись, он изрек:

«Я друг униженных и бедных,  
Я всех убогих берегу,  
Я знаю много слов заветных.  
Я есмь твой Бог. Я всё могу.

Меня печалит вид твой грустный.  
Какой бедою ты тесним?»  
И человек сказал: «Я — русский», —  
И Бог заплакал вместе с ним.

Гости альманаха «Енисей»

## Николай Рачков

НИКОЛАЮ ЗИНОВЬЕВУ

Узнал весь мир твой шаг победный,  
 Восславил ты свою страну.  
 О чём ты плачешь, друг мой бедный?  
 О том, что русский? Ну и ну.

Стыдись! Светлей алмазных граней  
 Сияет твой святой венок.  
 Ты столько перенёс страданий,  
 Такие муки превозмог.

Ты вновь обобран шайкой гнусной?  
 Зато душа была и есть.  
 Крепись, держись, мой друг, ты — русский!  
 Мой Бог, какая это честь!

\* \* \*

Все мы — летящие в пламени  
 Листья над стылым ручьём...  
 Милые, вечные, дальние,  
 Я не прошу ни о чём.

Испепеляются грамоты,  
 Плавятся камни в огне.  
 Если вы мною помянуты —  
 Значит, вы живы во мне.

Ветер холодный забвения  
 Да не касается вас.  
 ..Мыслей упорных биение,  
 Чувств неизбывный запас —

Всё это вы передали мне,  
 Встав навсегда за плечом.  
 Милые, вечные, дальние,  
 Я не прошу ни о чём...

## ЧАША

В надзвёздном царственном эфире,  
Где дух на троне, а не плоть,  
Один, один безгрешный в мире  
Всемиловитый наш Господь.

В руках, как дивное сказанье,  
Наполненная по края,  
Сияет чаша со слезами,  
И это Родина моя.

\* \* \*

В твоих полях я снова молод,  
Ты многое напомнишь мне.  
Люблю я ивняковый холод  
Твоих оврагов по весне.

Люблю я месяца сиянье  
Над снежной россыпью берёз.  
И расстоянье, расстоянье —  
Ослепшее от слёз и гроз.

Кому-то — синих гор верхушки...  
А мне милее всё равно  
В твоей полночной деревушке  
Слезой сверкнувшее окно...

\* \* \*

Не ты, не ты, а этот, юный,  
В пятнистой форме, в наши дни  
Он без ноги, с душой угрюмой,  
Вернулся чудом из Чечни.

Стучит костыль о пол трамвая.  
Скрипят на стыках тормоза.  
И каждый, мелочь подавая,  
Отводит  
    в сторону  
        глаза...

## А РОССИЯ БЫЛА И БУДЕТ

Свысока её недруг судит,  
Предъявляя смертельный счёт.  
А Россия была и будет,  
А Россия не пропадёт.

Заведут в глухое болото  
И укажут ей ложный брод.  
Там погибла целая рота,  
А Россия не пропадёт.

Хороша! — и берут завидки.  
Через чёрный нагрянут ход,  
Оберут Россию до нитки.  
А Россия не пропадёт.

Мир, как бомба, во зле взорвётся,  
Будет всем в аду горячо.  
А Россия сама спасётся  
И врагу подставит плечо.

## ЗАЖГИ В СЕБЕ СВЕЧУ

Когда темно, и ложь кругом,  
И нет пути лучу,  
Не надо думать о плохом —  
Зажги в себе свечу.

И многое пойдёт на лад  
И станет по плечу.  
И всяк тебе и всюду рад —  
Зажги в себе свечу.

А миру свет необходим,  
Как воздух трубачу.  
Пока ты светел, ты любим —  
Зажги в себе свечу.

И кто-то пусть воззвал к тебе:  
За мной! Озолочу!  
Спокойно улыбнись судьбе —  
Зажги в себе свечу.

И в небесах гремят грома,  
И я одно шепчу:  
Бог — это свет.  
Да сгинет тьма!  
Зажги в себе свечу.



Конкурс имени Игнатия Рождественского

## Джон Анфиногенов

Победитель в номинации  
«Я себя не мыслю без Сибири»

\* \* \*

Вижу сон: плыву на дирижабле.  
Там, внизу,— тайги зелёный ёжик.  
Я и наяву не возражал бы  
Плыть и плыть по небу без дорожек.  
Там, внизу,— немирные соседи  
Врозь бегут к шаману-экстрасенсу;  
Гнус и люди, лоси и медведи  
Ищут, ищут корм или консенсус.  
Отошло ко сну, уставши, Солнце.  
Засветился Месяц, юный щёголь,  
Он вчера с Венерой разошёлся  
И теперь плывёт, розовощёкий.  
А внизу — туманы по долинам  
И костёр пред небом, как лампада.  
Я плыву под звёздным балдахином  
В никуда, и большего не надо...  
Я и наяву не возражал бы  
Плыть и плыть по небу без дорожек.  
...Надо мной — чужие дирижабли,  
Но при мне — тайги зелёный ёжик.

\* \* \*

Разбухает Вселенная,  
Как в кастрюле квашня.  
Свадьба звёзд веселенная  
Да галактик возня.  
Чур излишеству пышному —  
Даже Вакуум в дрожь —  
Говорили ж Всевышнему:  
— Дрожжи эти не трожь!..

## ДАР ПРИРОДЫ — БАСАНДАЙКА!

Чудо-речка

Басандайка,

Ты на карте

как змея —

«Земноводная змея»,—

Ты притомских мест хозяйка,

Угадай-ка, угадай-ка:

чем живу сегодня я?

Что за мысль в мозгу поэта

Про тайгу и про Москву?..

Как бы спеть бы нам дуэтом —

Я подпеть ещё смогу!

Дар природы —

Басандайка!

Всё для оды —

Басандайка:

Благородная «змея»,

Благодатная земля!

Вот живёт семеек стайка,

Среди них моя семья...

Сберегай наш дом, Змея,

Ты притомских мест хозяйка,

Сберегу тебя и я.

Конкурс имени Игнатия Рождественского

## Виолетта Гусакова (16 лет)

Победитель в номинации «Я себя не мыслю без Сибири» (среди авторов младше 18 лет)

### ВРЕМЯ СОМНЕНИЙ

Необычное лето — в апреле.  
Мы сидим у окна за столом.  
Мы смеёмся. И «Алгебра-9»  
Незаметно ушла «на потом».

Говорим. Строим дальние планы.  
То заспорим, то вдруг замолчим.  
И пытаемся мы беспрестанно  
Отыскать для вопросов ключи.

Это странное время сомнений.  
Наша юность... Нам в школе твердят:  
Ничего нет важнее умений  
Возводить восемнадцать в квадрат,

Находить для неравенств решенье,  
Строить графики и чертежи...  
Только с каждым мелькнувшим мгновеньем  
Видим новые мы рубежи,

Не открытые нами, что манят  
Нас к себе... Мы не знаем пока,  
Что важнее для нас — это тайна.  
Разгадать её — в наших руках.

Нам пятнадцать. Обоим пятнадцать.  
Сколько будет дорог впереди!  
Предстоит нам во всём разобраться.  
Но сейчас я прошу: «Погоди...»

Погоди, непослушное время,  
Хоть на долю одной из секунд!  
Дай запомнить мне лето в апреле,  
И открытую «Алгебру-9»,  
И его...

пока всё это — тут».

## ВЕРТОЛЁТ

Мальчишка, раскинувши руки,  
Кружится меж пёстрой толпы...  
Хохочет, вращаясь по кругу,  
Вверх смотрит на дыма столбы...

Охваченный детским восторгом  
(Как будто и правда — летит!),  
Бежит посредине дороги,  
Почти не касаясь земли...

Смеётся усатый прохожий:  
«Куда полетел, вертолёт?»

А он и не знает, похоже.  
Он чувствует только: зовёт,

Зовёт его к солнцу и небу,  
К пушистым, как снег, облакам  
Неведомый голос — там, слева,  
В груди... И хотя он пока

Не выше стоящей скамейки,  
Под стол ещё ходит пешком —  
Всё будет! Всё будет. Поверьте,  
Не раз этот мальчик потом

Пробьёт нависающий пепел,  
Промчится меж дымных столбов,  
Откроет бескрайнее небо  
Под лопастей рокот... И вновь,

Оттуда вернувшись обратно,  
Он вспомнит далёкий вопрос  
(Казалось бы, в шутку был задан,  
А всё ж оказалось — всерьёз)...

Слышны будут реплики снова  
Теперь, провожая в полёт:  
«Серёга, дружище, здорово!  
Куда полетишь, вертолёт?»

Ольга Ермолаева

## Школа имени Астафьева

Жизнь без Астафьева стала скучной и плоской. Как чалдонские дети кидались на свежую черемшу, на шаньги с молотой черёмухой, на кедровые орехи, как обожали жевать эту так называемую серу — шоколадные, глянцевые брусочки отваренной в молоке живичной смолы лиственницы, — так я, как волчонок на материнскую добычу, бросалась на каждую новую прозу Астафьева, понимая: это самый мощный из современных мне писателей, самый полнокровный, по-царски непредсказуемый, то яростный, то нежный, и при этом не изменяющий ни вкусу, ни такту, ни природной скромности и достоинству...

Мне повезло: долгие годы мы были знакомы, при первой встрече он сказал: «Как же, знаю тебя, читал! *(Он читал!)* Только не становись похожей на эту...» (тут он назвал фамилию, которую я, разумеется, не назову...)

Мы переписывались, я всегда берегла его открыточки, календарики, письма, написанные от руки. При случае — переговаривались; случаев было немного: один раз я прилетала в Читу на «Забайкальскую осень», а то Виктор Петрович прилетал в Москву на писательский съезд или пленум, мы с мужем подходили к нему, всегда окружённому толпой, восхищённо и почтительно здоровались и скорей отходили, чтобы лишний раз не лезть ему в глаза... Он когда-то сказал мне: «Эх ты, салага! Ты в школу там бегала в своём Подтёсове, а я когда-то мимо Подтёсова по Енисею на судах матросом ходил... туда, на Игарку».

И то сказать. В посёлке Подтёсово уже того времени, когда я там училась аж до четвёртого класса, нищета была привычным и необременительным сопровождением нашей жизни. Первое время у нашей семьи не было даже колодца, и мы набирали на огороде снег, топили его на печке в кастрюлях и эту снежную талую воду пили, на ней варили, ею мылись. У нас все силы тогда были брошены на постройку насыпной землянки, чтобы перезимовать жестокую зиму на Енисее... И домик наш, со стенами, набитыми землёй, где щели были уконопачены болотным мхом, оказался на редкость тёплым, уютным, с желанными для меня вечерними чтениями вслух — у нас всегда вечерами читали вслух книги — иной раз, когда не было света, при двух керосиновых лампах. Тепло, блаженно, моя бабушка молодая (она когда-то училась в гимназии в Чите) правильно и точно читает книгу «Овод», а я начинаю вдруг неумеренно бурно рыдать от жалости к герою, ждущему казни, и бабушка смотрит неодобрительно: она

всегда была очень красивой, стройной, хорошо воспитанной (у нас говорили: культурной!), с волнистыми волосами, прекрасным и в поздние годы лицом, и я иной раз, наглядевшись на неё, налюбовавшись, замечала: «Баба, какая ты красивая!» — «Ой, Оля, не смей ты меня!» — говорила она своим чистым, нежным голосом и смеялась сама...

Мы были раскулаченные, нас гоняло и носило то в Среднюю Азию, то в Сибирь, то на Дальний Восток... В Подтёсово мы приплыли тогда по большому знакомству на шикарном пароходе «Валерий Брюсов», с красным бархатом и множеством зеркал в белой каюте (но моя любовь к этому поэту Серебряного века в течение дальнейшей жизни никак не усилилась).

Я была довольно неловкая от страшной стеснительности девочка, росла как зверёк, мама-учительница вечно в школе, заматанная проверкой тетрадей, всегда усталая, не очень счастливая... и я, предоставленная себе, даже не знаю, какой бы стала, если б не мои дед с бабушкой молодой. Помню, как я, бестолковая, отстояв длинную очередь, громко спросила у продавщицы в тёмном, похожем на склад-сарай магазине, куда принесла большую авоську пустых бутылок — сдавать: «Вы бутылки *сдаёте?*...» Очередь захохотала.

На вырученные деньги я в ту же самую авоську купила несколько килограммов карамели «Пуншевая» — в таких пёстрых обёртках, с жёлтыми, красными и зелёными волнистыми полосками фантики, а внутри жевательной и сосательной карамели что-то типа джема. Несу я домой эту полную авоську «Пуншевой», заправляя вылезавшие из ячеек конфетки — обратно, и встречается мне по дороге ещё более бедная, чем я, девочка, с которой мы играли не играли — так, слонялись да ротозейничали, и девочка просит: «Дай мне конфетку!...» Я дала. Девочка говорит: «Дай ещё, для моего братика!» — и тут я сухо отвечаю: «Мы не миллионеры!...» Эту фразу я помню всю свою жизнь.

Рассеянно-наглый Кучум (лайка), вечно стоящий на своей будке и кого-то высматривающий, деревня Чермянка в двенадцати километрах от Подтёсова, куда мы зачем-то ходили смотреть старую школу, походы в барак, где жила другая девочка, с ней мы опять ротозейничали и *шалались* по улкам, по тротуарам... Игрушек у меня не было, к самодельной кукле с чулочным лицом, сшитой для меня моей бабушкой молодой, превосходной портнихой, я не испытывала никаких чувств, предпочитая играть дедовыми плотницкими инструментами: рубанком, фуганком, уровнем, коловоротом, угольником... В этом гигантском девочкином бараке, вероятно, когда-то служившим каторжникам, затем ссыльнопоселенцам (Подтёсово на Енисее стояло уж триста с лишним лет!), всё пространство было разграничено цветастыми засаленными занавесками, и за каждой обитала семья. В этих деревянных, повидавших невесть какие виды стенах вечно витали запахи жареной картошки, варёной капусты, горящих керосинок, там стояло много помойных вёдер под разнокалиберными

рукомяниками, но барак не был для меня ни противным, ни дурно пахнущим — он был очень притягательным со своими фотокарточками в рамках, зеркальцами, тюбиками жирной красной помады на вязанных из грубых дешёвых ниток салфетках, покрывающих тумбочки и этажерки... Ссылнопоселенцев тут поджидало не то, так другое: не лютовавший здесь вовсе туберкулёз, так страшные зимы с бешеным морозякой, который только мне, дикошарой дурочке, казался нарядным и радостным.

Помню, меня перевязали крест-накрест белой, в алых розанах, шалью поверх мальчуковой шапки на моей вечно стриженной под машинку (причёска *под мальчика!*) голове... Я вышла из дверей в очень глубокую, синюю от теней траншею, так отрывали вход в дом, после того как нас заваливал каждый прошедший буран. Стенки снежной траншеи были в два моих роста высотой. Я изумлённо взглядывала на сверкающий, резкий и острый мир, ликуя невесть отчего, по своему обыкновению... В деревянной школе нашей было пусто, солнечно, непривычно тихо, и техничка сказала с улыбкой, оглядев меня, завязанную гарусной шалью: «Девочка, что ты пришла? Сорок градусов мороз. В сорок градусов дети не учатся!»

Эта школа потом была перестроена, она сделалась в более поздние годы кирпичной, и вот какие выражи закладывает судьба (нашла заметку в Интернете про нашу школу!):

Подтёсовская средняя школа №46 имени Астафьева 27 февраля 1998 г. в школу приезжал известный сибирский писатель В. П. Астафьев. Это было большое событие не только в жизни школы, её учителей и учеников, но и для всех жителей посёлка; встреча с писателем проходила в очень тёплой обстановке.

Поначалу ученики стеснялись задавать вопросы, но через некоторое время обстановка стала настолько естественной, что ученики задавали самые обычные вопросы: как он понимает слово «счастье»? что бы он загадал, если бы у него была волшебная палочка? На что писатель ответил: «Первое — здоровья побольше для моей жены, второе — чтобы дети рано не умирали, третье — чтобы все сидящие в этом зале были счастливы!» Наша школа тогда находилась в стадии строительства, и неизвестно, когда бы её закончили, если бы не В. П. Астафьев. С ходатайством о завершении стройки он выходил к губернатору А. И. Лебедю, в Законодательное собрание края. При встрече с писателем у него попросили разрешения назвать школу его именем, на что Виктор Петрович категорически не согласился, считая, что при жизни делать себе памятник — неэтично. Когда Виктор Петрович умер, вдова писателя, Мария Семёновна, дала разрешение. Так школе присвоили имя Виктора Петровича Астафьева. В 2002 г. был открыт литературный музей В. П. Астафьева.

А рядом со школой был розовый, с колоннами, Дом культуры, где меня буквально грозно заставили быть *Снежинкой* на школьной новогодней ёлке; у всех других девочек были нарядные марлевые накрахмаленные пышные платица с блёстками, а у меня было ничем не украшенное простое бедняцкое платишко из коленкора, совсем без складок, и руками я не могла от печали и стеснения правильно двигать, в то время как остальные девочки изображали руками плавные лебединые взмахи,— я мёрзла и тупо делала руками что-то похожее на школьную зарядку... Видать, не было у меня никакой возможности отвертеться от этой глупой роли, а ведь я больше всего всегда любила *просто сидеть* и *просто смотреть во все глаза*, запоминая на долгие годы...

Да, ещё вспомнила: за каким-то шутком мы вечно с девочками заходили после школы в аптеку — ага, там продавались бруски гематогена, он был нам вместо шоколадок...

С другой стороны, жили в Подтёсове и люди богатые, это были речные и морские капитаны (например, капитан Лобадзе!), у них в домах даже стояли *пианины*, на которых никто никогда не играл, но сам факт...

Была ведь и поездка с дедом и бабушкой молодой на пароме через Енисей — на остров, сплошь заросший рясной и крупной смоляной черёмухой: она нужна была нам для шанег, потому что ни творога, ни сметаны, ни молока у нас не было — вследствие того, что нас всегда тайно обуревали идеи насчёт вечной смены жительства, мы не могли завести корову: во-первых, не скопить было на неё денег, а во-вторых, она бы нас *прочно закрепила* на месте... Чего никто в нашем семействе раскулаченных, вечно гонимых ветром по свету, особенно и не жаждал... На острове с черёмухой какие-то лесные дружинники вдруг привязались к деду: что да что у тебя в мешке? А у деда был завернутый в тряпицу скальпельно-острый плотницкий топор. Долго лесные молодцы приставали к деду... Господи, пожалели бедняку бросовой ягоды! Но дед мой был не бедняк, а унтер-офицер царской армии, он воевал, мой красавец, певун, всё на свете умеющий делать, на Халхин-Голе, бывал в Харбине... Хотя, правда, у нас тогда на многое не было средств, говорю же — бедно, как все кругом, жили...

Виктора Петровича я любила за многое: за широту натуры, за тонкое чутьё и понимание поэзии, за неколебимую внутреннюю суровую мужицкую справедливость... Виктора Петровича — я его величала именно так! — окружающее его немалое кольцо молодёжи не называло ни «шеф», ни «наш-то», ни «старик» — он не был ни шефом, ни нашим-то, ни стариком... Его называли ласково — Витя... Ох, вспомнила, как мы с ним пели в притихшем большом застолье в каком-то таёжном посёлке, в домике над рекой, песню «Под окном черёмуха колышется», причём он не все куплеты помнил, а я помнила все куплеты... А он давай себе подливать в гранёную, грубого стекла,



рюмку на ножке — из запотевшей бутылки, только Мария Семёновна всё больше и больше тревожно хмурилась... И голос хороший какой у него был...

Как же я любила и люблю его «Царь-рыбу», а там почему-то более всего «Уху на Боганиде» — дело доходило до того, что мы с дочкой, знающие эту вещь почти наизусть, даже называли друг дружку «пана»: «Ты спишь, пана?» — «Нет, пана, я не сплю!..»

Наступает зима, в Подтёсове в мою школу имени Астафьева, как прежде, идут дети, в библиотеке имени Астафьева пышат теплом батареи, пахнет глаженными шторами, стоят ряды стеллажей с затрёпанными книгами... А в затоне, потупаясь, как мне представляется, вмёрз в лёд пароход «Виктор Астафьев», совсем не парадный речной енисейский трудяга...

Виктор Петрович написал в «Завещании», когда уже сильно болел: «Пожалуйста, не топчитесь на наших могилах и как можно реже беспокойте нас. Если читателям и почитателям захочется устраивать поминки, не пейте много вина и не говорите громких речей, а лучше молитесь. И не надо что-либо переименовывать, прежде всего — моё родное село... Желаю всем вам лучшей доли, ради этого жил, работал и страдал. Храни вас всех Господь!»

Вот так. Жил. Работал. Страдал.

Аделя Броднева

## «Не забывай моё весеннее танго...»

Лирический дневник «весёлого солдата»

Многие исследователи, юность которых совпала с годами Великой Отечественной войны, помнят и свидетельствуют, что одним из факторов Победы, наряду с массовым героизмом и жертвенностью, «было всепроникающее и поистине могучее поэтическое слово в песенном его воплощении». Историк и литературовед Вадим Кожин, которому в 1945-м было пятнадцать лет, сохранил в памяти атмосферу того героического времени и доказал своими выдающимися исследованиями в области феномена духовной культуры советского человека, что «поэтическое слово явилось очень весомым и, более того, необходимым „фактором“ Победы».

Действительно, вся жизнь солдата на войне была пронизана лирическими песнями, фронтовыми стихами, которые становились известны по всем фронтам, пелись под гитару, исполнялись солистами фронтовых агитбригад. Это знаменитые «Катюша» и «В лесу прифронтовом» Михаила Исаковского, «Жди меня» Константина Симонова, «Землянка» Алексея Суркова, «Тёмная ночь» Владимира Агатова, вальс «На сопках Маньчжурии» и сотни других. Песни во время войны были всеобщим народным достоянием, народное самосознание выражалось в них наиболее концентрированно и заострённо. Многие из этих песен сохраняют свое значение и сегодня, их поют теперь уже и внуки тех солдат, и молодые эстрадные певцы.

Не будет преувеличением сказать, что почти каждый воин писал свой лирический дневник. Сейчас популярен дневник бойца, воевавшего на Волховском фронте, Дмитрия Караганова<sup>1</sup>. Вероятно, таких документов, свидетельствующих о цельности и духовной составляющей воина-победителя, сохранилось немало. К счастью, уцелел и дневник нашего земляка Виктора Петровича Астафьева, который он писал уже после войны, с конца 1945 года до октября 1947-го. Он ныне хранится в Литературном музее, куда был передан самим писателем в 1999 году. Виктор Петрович им очень дорожил, сохранил и передал нам. Много хороших слов в своё время сказал он о музейных сотрудниках, эти слова нам всегда памятны и дороги.

Здесь мы не будем представлять весь дневник (около ста страниц и более ста двадцати произведений). В полном объёме он будет

1. М., «Вишера», 1942 — 11. Сайт в Интернете: <http://www.proza.ru/2007/03/14-79>

напечатан в сборнике Литературного музея «Енисейские встречи». Читателей альманаха «Енисей» я познакомлю с фрагментами астафьевского дневника. Даже поверхностный анализ представленного в нём подтверждает мнение многих исследователей о музыкальности прозы Виктора Петровича. Известный исследователь Михаил Васильевич Булгаков говорит «не о музыке прозы, а о музыке в прозе» и называет Астафьева самым музыкальным писателем в нашей современной литературе. Его герои поют песни «каторжанские», русские народные, военные, просто солдатские, тюремные, лирические, казачьи, романсы русские и цыганские, артельные, блатные, колыбельные, частушки, эстрадные тридцатых — семидесятых, патриотические, украинские... Героев у него много, герои разные — с чего бы им петь в одну дуду?

В песнях, песенности — один из «секретов» того, что называют полифонией прозы; песни — это целые пласты в многослойных текстах Астафьева. Поют стар и млад, забубённые уркаганы и безутешные вдовы, поют хором и в одиночку, на войне и мирной ночью на берегу Енисея, в горе и в радости. «Нам песня строить и жить помогает!» И совсем неспроста писатель выбрал эпиграфом «Последнего поклона» строчку «Пой, скворушка, гори, моя лучина». Два великих человека — дирижёр и издатель, Евгений Колобов и Геннадий Сапронов, — создали редкую по своей красоте и талантливости «музыкальную» книгу «Созвучие» (2009), которая определила место мастера «Последнего поклона» в одном ряду с музыкантами — сочинителями симфоний.

Стоит напомнить, что «весёлому солдату» Виктору Астафьеву было в 1945-м всего двадцать один год. Надо ли говорить о том, что биография его является биографией всего народа? Но что характерно для этого бывшего, но безусого фронтовика, который вряд ли мечтал стать писателем, — в нём жила врождённая тяга к поэтическому слову и к мелодии. Помните из «Далёкой близкой сказки»: «Сердце... бьётся у горла, раненное на всю жизнь музыкой». По всей вероятности, свои куплеты и стихи демобилизованный солдат записывал на память, когда приехал в город Чусовой с фронта вместе со своей Маней, как он её любовно называл, и устроился на железнодорожный вокзал дежурным, где и писал по ночам в ученическую тетрадку любимые строки. Из документа следует: «Приказ № 189 по станции Чусовская от 28 ноября 1945 г. Прибывшего по демобилизации из Красной Армии Астафьева Виктора Петровича, 1924 года рождения, зачислить с сего числа на должность дежурного по вокзалу. Оклад по штатной ведомости. Директор: Южаков». Витя Астафьев начинает вписывать в свой дневник первые стихи и песни 3 декабря 1945-го и заканчивает тетрадку 11 октября 1947 года.

В дневнике нет патриотических песен о вождях, нет ложной патетики, но есть весёлое озорство, нехитрая любовная фронтовая

лирика неизвестных или неустановленных авторов, блатной шансон. Есть песни из культовых кинофильмов 1930–1940 годов. И всё же бóльшая часть произведений, включённых Астафьевым в этот рукописный сборник, — это классические романсы, опереточные куплеты, стихи и песни Сергея Есенина, стихи и проза Михаила Лермонтова, романсы на музыку Варламова, Шуберта, Булахова, Дунаевского. Уже это говорит о незаурядности «весёлого солдата». Часть из записанных им произведений круглосуточно звучала по радио, крутилась на патефонных пластинках, исполнялась в концертах, гремела на танцевальных площадках.

Многие фронтовики говорили, что в послевоенные годы им не хотелось вспоминать о пережитом. Это и понятно: действовал инстинкт самосохранения, после испытанного ужаса было естественным бегство от трагедии в мир иллюзий, в мир приключений, фантазий, свободы. Отсюда жанровое богатство послевоенной лирики, в которой почти не было военных сцен, а была только эмоциональная оценка подвига, состояния человека на войне. Но потрясает то, каким бесконечно светлым и добрым был идеал солдата, победившего в самой жестокой и бесчеловечной войне, какой ещё не знала история.

...Посвящаю эту публикацию памяти верной спутницы жизни Виктора Петровича — Марии Семёновне Астафьевой-Корякиной. Венчанные фронтовыми дорогами, выжившие всем смертям назло, осенью 1945 года вступили они на платформу станции Чусовой. Это был родной город Марии Семёновны. Откуда она ушла добровольцем на фронт. Здесь родились их дети. Здесь осталась могила первой дочери. Здесь был написан Астафьевым первый рассказ. Но вначале были вот эти дневниковые записи. Хочется пожелать читателям лирического дневника, который впервые «выходит» на публику, своих открытий — и не верить на слово ненавистникам нашей Победы, а верить *русскому солдату-победителю*.

## ШОТЛАНДСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ

*Слова В. Шмидта, музыка Людвиг Бетховена  
Вариант Астафьева*

Постой! Выпьем, ей-богу, ещё.  
Бетси! Нам грогу стакан  
Последний в дорогу.  
Бездельник, кто с нами не пьёт.

Налей полней стаканы.  
Кто врёт, что мы, брат, пьяны?  
Мы веселы просто, ей-богу!  
Ну кто так бессовестно врёт?

Постой! Выпьем, ей-богу, ещё.  
Бетси! Нам грогу стакан  
Последний в дорогу.  
Бездельник, кто с нами не пьёт.

Ей-ей! Здорово пьётся, к чертям!  
Всё, что нальётся, — к чертям.  
Кто там над нами смеётся?  
Сосед, наливай — твой черёд.

Легко на сердце стало,  
Забот как не бывало.  
За друга готов пить я хоть воду,  
Но жаль, что с воды меня рвёт.

Постой! Выпьем, ей-богу, ещё.  
Бетси! Нам грогу стакан  
Последний в дорогу.  
Бездельник, кто с нами не пьёт.

Теперь выпьем за Бетси ещё,  
За рот смеющийся Бетси,  
Пусть Бетси нам всё поднесёт.  
За Бетси выпить нужно,  
За счастье девушек нужно,  
Давайте за девушек дружно,  
А Бетси нам всем поднесёт.

Постой! Выпьем, ей-богу, ещё.  
Бетси, нам грогу стакан  
Последний в дорогу.  
Бездельник, кто с нами не пьёт!

## ОЧИ ЧЁРНЫЕ

*В тексте объединились два известных русских романа:  
«Очи чёрные» на слова Евгения Гребёнки и музыку Флориана  
Германа и «Чёрные глаза» на слова Аполлона Майкова  
в исполнении Вадима Козина и Фёдора Шаляпина*

*Вариант Астафьева*

Был день весенний, всё расцветало, ликовало кругом,  
Сирень цвела, будя уснувшие мечты.

Грусти со мною ты не знала.

Ведь мы любили, и для нас цвели цветы.

О! Эти чёрные глаза меня пленили,  
Их позабыть не в силах я, они горят передо мной.

О! Эти чёрные глаза, кто вас полюбит,  
Тот потеряет навсегда и сердце, и покой.

Очи чёрные, очи ясные,  
Очи жгучие и прекрасные.

Вы сгубили меня, очи чёрные.

Знать, любили меня вы в недобрый час.

## В ТОМ КРАЮ

*Эту песню исполняли бойцы Волховского фронта  
Текст Астафьева совпадает с текстом  
стихотворения из дневника Дмитрия Караганова*

В том краю, где бор шумит зелёный,  
Где под ветром низко гнётся рожь,  
Возле речки быстрой и студёной  
Ты, моя любимая, живёшь.

И не раз в боях за край родимый  
Слышал я твой голос дорогой.  
Сквозь огонь прошёл я невредимый,  
Чтобы вновь увидеться с тобой.

Вдалеке я часто вспоминаю  
Голубую кофточку с каймой.  
Я вернусь к тебе, моя родная,  
В тихий вечер будущей весной.

Мы с тобою снова встретим осень,  
Листьев ярких пламень золотой.  
И куда судьба меня ни бросит,  
Буду сердцем я всегда с тобой.

## ЛИПА ВЕКОВАЯ

Застольная песня

*Исполняли Лидия Русланова,  
Фёдор Шаляпин, Олег Погудин  
Вариант Астафьева «Липа»*

Липа вековая над рекой шумит,  
Песня удалая вдалеке звенит.  
Луг покрыт туманом, словно пеленой;  
Слышно за курганом звон сторожевой.

Этот звон унылый из минувших дней  
Воскресил, что было, в памяти моей.  
Помню, как расстаться нам с тобой пришлось,  
Больше увидаться нам не привелось.

Сжалась грудь тоскою, только вспоминай,  
Я как любил, бывало, милая, тебя.  
Годы миновали, и я под венцом.  
Молодца сковали золотым кольцом.

Только не с тобою, милая моя,—  
Спишь ты под землёю, спишь из-за меня.  
Над твоей могилой соловей поёт,  
Скоро и твой милый тем же сном заснёт.

*Правильно последний куплет:*

Только не с тобою, милая моя,—  
Спишь ты под землёю, спишь из-за меня.  
Над твоей могилой соловей поёт,  
Липа вековая весной расцветёт.

## FORTUNATA

*Слова А. Майкова (1845), музыка А. И. Дюбюка (1857)*

*Вариант Астафьева*

Ах! Люби меня без размышлений,  
Без тоски, без думы роковой,  
Без упрёков, без пустых сомнений.  
Что тут думать? Я твоя, ты мой.

Всё забудь, всё брось, весь мне отдайся!  
На меня так грустно не гляди.  
Что на сердце — думать не старайся.  
Весь ему отдайся и иди.

Я любви не числю и не мерю.  
Нет? Любовь есть вся моя душа.  
Я люблю, смеюсь, клянусь и верю...  
Ах! Как жизнь, мой милый, хороша.

Верь в любви, что счастьем не умчаться,  
Верь, как я, о гордый человек!  
Что нам ввек с тобой не разлучаться  
И не кончить поцелуя ввек.

## ТОЛЬКО РАЗ

Вальс-бостон

*По мотивам известного романа П. Германа  
на музыку (?) Когана, автор слов неизвестен*

*Вариант Астафьева*

Каждый день вокруг слова и встречи  
Нам прядёт судьбы веретено.  
Каждый день наскучившие речи,  
Но душа твердит одно.

Только раз ведёт дорога к счастью,  
Только раз приходит сон любви,  
Никогда уже сгоревшей страстью  
Не зажечь огонь в крови.

Солнца жар сменяется морозом,  
Мрак ночной редеет поутру,  
Но нельзя цвести увядшим розам  
И гореть угасшему костру.

Нет, никогда огонь минувших лет  
В сердце не будет пылать.



## БУБЕНЦЫ

Слова Александра Кусикова,  
музыка Владимира Бакалейникова

Из репертуара русского певца греческого  
происхождения, покинувшего Россию с белой  
эмиграцией, Юрия Морфесси (1882–1957)

Вариант Астафьева

Что-то сердце забилося тревожно.  
(Сердце будто проснулось пугливо.)  
Позабытого стало мне жаль.  
Пусть же кони с распушенной гривой  
С бубенцами умчат меня вдаль.

Слышу звон бубенцов издалёка —  
Это тройки знакомой разбег,  
А вдали расстелился широко  
Белым саваном искристый снег.

Пусть ямщик свою песню затянет,  
Ветер будет ему подпевать.  
Что прошло — никогда не настанет,  
Так о чём же, о чём горевать?

Звон бубенчика трепетно может  
Разбудить (воскресить) позабытую тень,  
Мою русскую душу встревожить  
И встряхнуть мою русскую лень.

А когда-то мне было отрадно,  
И в любви я улыбку искал,  
А теперь всё прошло безвозвратно,  
Лишь остались тоска и обман.

Ах! Несите меня всё быстрее,  
Где услышу я песни цыган,  
Звон бокалов и речи хмельные,  
Где забуду тоску и обман.

Тяжело жить на свете без цели,  
Нет и смысла в напрасном труде.  
Быстро двинутся дни и недели,  
Силы гибнут в неравной борьбе.

## МАРШ ТОРЕАДОРА

Из оперы Жоржа Бизе «Кармен»

*Вариант Астафьева*

Мои друзья! Я вам внимаю.  
Тореадор солдату друг и брат.  
Сердцем солдата я уважаю.  
Он, как мы, в бой вступить всегда рад.

Цирк полон, ждут все представленья,  
Толпа кишит, куда ни глянь.  
И весь народ в страшном волнении,  
Говор и крик, а подчас споры, брань.

Что толкуют, чего бушуют?  
Всё оттого, что близок час.  
Потеху, видно, сердцем чуют,  
Поглядеть, есть ли храбрость в нас.

Пора, готовься, пора, пора...  
Ах, тореадор! Вниманье, тореадор!  
Тореадор, и помни, что красotka  
С тебя ведь не спускает глаз.  
И ждёт тебя любовь, тореадор,  
Да, ждёт тебя любовь.

Вдруг смолкает всё мгновенно,  
Вперили взоры, едва-едва дыша.  
Вот миг — и пущен бык на арену,  
Он летит вперёд — к верной смерти спешит.

Вот столкнулись, и лошадь пала.  
И тореадор сам лежит без чувств под ней.  
...Все закричали, а бык бежит  
Вперед всё бешеной, грозней.

Срывает ленты, всё ломает, и  
Тёплой кровью цирк, смотрите, обагрён.  
Тут у многих духу не хватает, твой черёд настаёт.  
Пора! Готовься! Пора! Вперёд, ах, тореадор!  
Вниманье, тореадор!

## ПОД ОКНОМ ЧЕРЁМУХА КОЛЫШЕТСЯ

*Слова Тимофеева, музыка народная*

*Вариант Астафьева*

Под окном черёмуха колыхается,  
Осыпая лепестки свои.  
А за рекой знакомый голос слышится,  
И поют всю ночь соловьи.

Сердце девичье забилося радостно.  
Как светло, как хорошо в саду!  
Жди меня, мой радостный, мой сладостный,  
Я в заветный час к тебе приду.

Ах, зачем тобою сердце вынута?  
Для кого теперь блестящий взгляд?  
Мне не жаль, что я тобой покинута,  
Жаль, что люди много говорят.

Под окном на крыше стонут голуби.  
Как-то сыро, грустно поутру,  
Только листик запоздалый кружится,  
И сидит ворона на суку.

Под окошком ранняя распутица,  
Утром выпал небольшой мороз.  
Мне недолго добежать до проруби,  
Не заправив даже русских кос.

Прямо к речке тропочка прокинута.  
Спи, мальчишка,— ты не виноват.  
Мне не жаль, что я тобой покинута,  
Только жаль, что люди говорят...

*г. Чусовой, 13 ноября 1946*

## УХОДИТ ВЕЧЕР

*Слова Н. Коваля, музыка А. Варламова*

Уходит вечер, вдали закат погас...  
И облака толпой плывут на запад.  
«Спокойной ночи!» — поёт нам поздний час,  
А ночь близка, а ночь на крыльях сна.

С твоих ресниц слетают тихо грёзы,  
Стоят задумчиво уснувшие берёзы.  
«Спокойной ночи!» — поёт нам поздний час,  
А ночь близка, а ночь близка...

«Спокойной ночи!» — поёт нам поздний час.  
А ночь близка, а ночь на крыльях сна.  
Да, да...

## ДАЛЁКО, ДАЛЁКО ЗА МОРЕМ

Песенка из кинофильма «Золотой ключик» (1939)

*Слова М. Фромана, музыка Л. Шварца*

*Вариант Астафьева*

Далёко, далёко за морем  
Стоит золотая стена,  
В стене той заветная дверца,  
За дверцей — большая страна.

Ключом золотым отворяют  
Заветную дверцу в стене.  
Но где отыскать этот ключик,  
Никто не рассказывал мне.

В стране той пойдёшь ли на север,  
На запад, восток ли, на юг —  
Везде человек человеку  
Надёжный товарищ и друг.

Прекрасны там горы и доли,  
И реки, как в сказках, шумят.  
Все дети там учатся в школах,  
И светлые дни там горят.

## ПИСЬМО МАТЕРИ

Сергей Есенин

Вариант Астафьева

Ты жива ещё, моя старушка?  
Жив и я. Привет тебе, привет!  
Пусть струится над твоей избушкой  
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,  
Загрустила (*шибко*) сильно обо мне,  
Что ты часто ходишь на дорогу  
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке  
Часто (*видится*) кажется одно и то ж:  
Будто мне в кабацкой буйной драке  
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.  
Это только тягостная бредь.  
Не такой уж горький я пропойца,  
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный  
И мечтаю только лишь о том,  
Как (*чтоб*) скорее от тоски мятежной  
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда распустит ветви  
По-весеннему наш белый сад.  
Только ты (*меня*) тогда уж на рассвете  
Не буди, как восемь лет назад

И молиться не учи (*меня*). Не надо!  
(*К*) Старому возврата больше нет.  
Только ты лишь для меня отрада,  
(*Ты одна мне помощь и отрада*)  
Только ты лишь несказанный свет.  
(*Ты одна мне несказанный свет.*)

ПОЙ ЖЕ, ПОЙ.  
НА ПРОКЛЯТОЙ ГИТАРЕ...

*Сергей Есенин (1923)*

*Вариант Астафьева*

Пой же, пой. На проклятой гитаре  
Пальцы пляшут твои в полукруг.  
Захлебнуться б в этом угаре,  
Мой единственный искренний друг.  
(*Мой последний, единственный друг.*)

Не смотри (*не гляди*) на её запястья  
И с плеч её льющийся пыл (*шёлк*).  
Я искал в этой женщине счастья,  
Но нечаянно душу сгубил.  
(*А нечаянно гибель нашёл.*)

Я не знал, что любовь — зараза,  
Я не знал, что любовь — чума.  
*Подошла и прищуренным глазом*  
*Хулигана свела с ума.*

Пой же, пой, напевай мне снова  
Мою прежнюю, буйную жизнь (*рань*).  
Пусть она ласкает другого,  
Молодая красавица (*красивая*) дрянь.

Ах, постой, я тебя (*её*) не ругаю.  
Ах, постой, я тебя (*её*) не кляню.  
Дай тебе про себя я сыграю  
На басовую эту струну.

Лейся, дней моих розовых узел,  
(*Лейся, дней моих розовый купол*)  
В сердце снов золотая сума.  
*Много девушек я перещупал,*  
*Много женщин в углах прижимал.*

Так о чём мне ещё горевать?  
Так о чём мне болеть такому?  
Наша жизнь — простыня да кровать.  
Наша жизнь — поцелуй да в омут.

Пой же, пой! В роковом размахе  
Этих рук роковая беда.  
Только знаешь, пошли ты их на хер.  
Не умру я, мой друг, никогда.

*14 декабря 1945*

## ЧЁРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ

*По мотивам романа  
«Чёрная роза — эмблема печали»*

*Слова и музыка Д. К. Сартинского-Бея (1899)*

*Вариант Астафьева*

Чёрную розу — эмблему печали —  
При встрече с тобой тебе я принёс.  
Полны предчувствий, мы оба молчали,  
Хотелось так плакать, но не было слёз.

Обидно, досадно до слёз, до мучений,  
Что в жизни так поздно встреча с тобой.  
И в мысли моей воскресает невольно и снова,  
Когда ты другого ласкала,  
Венок из улыбок ему ты плела,  
Его обнимала, клялась, целовала,  
И нежность, и пыл ты ему отдала.

Теперь для меня ты лишь бездна мучений,  
Я должен покинуть тебя...

Ты честь и невинность свою загубила,  
Теперь ты плачешь и раскаяний полна,  
Даришь поцелуи без сласти, без пыла,  
И страсти невольно съедают тебя.

Меня омерзенье берёт, лишь я вспоминаю,  
Как ты извивалась в объятьях чужих,  
Как губы, пылая, касались других.  
Теперь ты как льдина, и только желанье  
В объятья упасть в поцелуях немых.

Не найти тебе счастья.  
Я жизнь и любовь не щажу,  
И ради всего, что с тобою случилось,  
Прощай... я уйду.

## УЗОР СУДЬБЫ

*Слова Павла Германа,  
музыка Юлия Хайта (1923–1925)*

*Вариант Астафьева*

Узор судьбы чертит неслышный след.  
Твоё лицо я вижу вновь так близко.  
И веет вновь дыханьем прошлых лет  
Передо мной лежащая записка.

Не надо встреч, не надо продолжать,  
Не надо слов, клянусь тебе — не стоит.  
И если вновь больное сердце ноет,  
Заставь его застыть и замолчать.

Ведь мне знаком, мучительно знаком  
Твой каждый жест, законченный и грубый,  
Твоей души болезненный излом,  
И острый взгляд, и чувственные губы.

Я не хочу былого осквернить  
Игрою чувств минутного возврата.  
Что было раз — тому уже не быть:  
Твоей рукой всё порвано и смято.

*15 декабря 1945*

## ГОРОДСКОЙ РОМАНС

*Звучал в наши дни в передаче  
«В нашу гавань заходили корабли»*

*Вариант Астафьева*

Нью-Йорк окутан ледяным туманом.  
Была зима, холодный ветер выл.  
Стоял мальчишка в платье грязном, рваном  
И пел задумчиво блуждающей толпе:  
«Подайте, мисс, не уходите,  
Я вам спою, как жизнь моя красна.  
Больная мама — помогите!  
Она умрёт, когда придёт весна.  
Вас не постигнет уличная драма,  
Ведь вам легко исполнить мой каприз,  
А у меня больная мама!  
Подайте, мисс! Подайте, мисс!»



## ЗВАТЬ ЛЮБОВЬ НЕ НАДО

Романс из кинофильма «Моя любовь» (1940)

*Слова Анатолия Д'Актиля, музыка Исаака Дунаевского*

Звать любовь не надо, явится незваной,  
Счастье расплеснёт вокруг.  
Он придёт однажды, ласковый, желанный,  
Самый настоящий друг.

Взглядом ты его проводишь,  
День весь как во сне проходишь...  
Ночью лишь подушке, девичьей подружке,  
Выскажешь свои мечты.

Если всё не так, если всё иначе,  
Если ночь полна цветами,  
Если сон бежит, если сердце плачет,  
Плачет благодарными слезами,

Если целый мир стал для сердца тесен,  
Если воздух полон песен,  
Если, расставаясь, встреч ты хочешь вновь —  
Значит, ты пришла, моя любовь!

Будут всё теплее и приятней встречи,  
Будет каждый день — весна!  
Но однажды в тёмный непогожий вечер  
Ты придёшь домой одна!

Медленно платок развяжешь,  
Слова никому не скажешь...  
Ночью лишь подушке, девичьей подружке,  
Выскажешь свою печаль.

Если всё не так, если всё иначе,  
Если думать нету воли,  
Если сон бежит, если сердце плачет,  
Плачет от невысказанной боли,

Если дни свои этой болью меришь,  
Если ничему не веришь,  
Если, расставаясь, встреч не хочешь вновь —  
Значит, ты ушла, моя любовь!

## И СКУЧНО И ГРУСТНО

*Михаил Лермонтов*

И скучно и грустно, и некому руку подать  
В минуту душевной невзгоды...  
Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?..  
А годы проходят — все лучшие годы!  
Любить... но кого же? На время — не стоит труда,  
А вечно любить невозможно.  
В себя ли заглянешь — там прошлого нет и следа:  
И радость, и муки, и всё там ничтожно...  
Что страсти — ведь рано иль поздно их сладкий недуг  
Исчезнет при слове рассудка;  
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,—  
Такая пустая и глупая шутка...

## ЕСЛИ ВОЛГА РАЗОЛЬЁТСЯ

Песенка из кинофильма «Вратарь»

*Слова Василия Лебедева-Кумача,  
музыка Исаака Дунаевского (1938)*

*Вариант Астафьева*

Если Волга разольётся,  
Трудно Волгу переплыть.  
Если милый не смеётся,  
Трудно милого любить.

Я девчонка молодая.  
Что мне делать? Как мне быть?  
Оттого я и страдаю,  
Что не знаю, как любить.

Крепко любишь — избалуешь,  
Мало любишь — отпугнёшь,  
Беспокойный — так ревнуешь,  
А спокойный — нехорош.

Без луны на небе мутно,  
А при ней мороз сильней.  
Без любви на свете трудно,  
Полюбить — ещё трудней.

*1 февраля 1946*

## КРАСАВИЦ МНОГО ЕСТЬ НА СВЕТЕ

*По мотивам дуэта Сильвы и Эдвина  
из оперетты Имре Кальмана «Сильва»*

*Вариант Астафьева*

Можно часто увлекаться,  
Можно только раз любить,  
Раз с тобою повстречаться,  
Чтоб судьбе не изменить.

Я старался сердце успокоить,  
Сердце думал обмануть.  
Ничего не мог душе устроить,  
Но не один с тобою путь.

Но лучше есть кругом, чем я.  
Зачем избрал меня?  
Мне это трудно объяснить.  
Могла лишь меня пленить.

Красавиц много есть на свете,  
Лишь к одной влечёт, как в сети,  
Лишь в любимой целый мир,  
Вся жизнь — кумир...

Лишь одна горит звездой,  
Увлекает нас мечтою!  
Ты одна мой мир,  
Ты красота, ты мой кумир.

## ЗАМЕТАЛСЯ ПОЖАР ГОЛУБОЙ

Стихи о любви

*Сергей Есенин*

*Вариант Астафьева*

Разгорелся пожар голубой.  
Позабыв все далёкие дали,  
Первый раз я пою про любовь,  
Первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь как запущенный сад,  
На вино и на женщин был падох,  
Надоело мне жить и гулять  
И терять свою жизнь без оглядки.

Я б навеки ушёл за тобой,  
Позабыв все далёкие дали...  
Первый раз я пою про любовь,  
Первый раз отрекаюсь скандалить.

Я б навеки забыл кабаки  
И разгульную жизнь позабросил,  
Лишь бы только коснулся руки  
И волос твоих, ясных, как осень.

## НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ

*Сергей Есенин*

*Вариант Астафьева*

Не жалею, не зову, не плачу,  
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.  
Увяданья золотом охваченный,  
Я не буду больше молодым.

Дух бродяжий! ты всё реже, реже,  
Расшевеливаешь пламень уст.  
О моя утраченная свежесть,  
Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях.  
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?  
Словно я весенней гулкой ранью  
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,  
Тихо льётся с клёнов листьев медь.  
Будь же ты вовек благословенно,  
Что пришло процвеств и умереть.

## ТЫ ДАЛЕКО

Мне сегодня грустно почему-то,  
В горле не расходится комок.  
В горькую тоскливую минуту  
О тебе я вспоминал, дружок.

Близкая, понятная, родная,  
Как же от меня ты далеко!  
Как истосковался, как тоскую,  
Как мне на чужбине нелегко.

Ничего, что нынче я скучаю:  
Я силён и всё переживу,  
Я в письме тебя хоть поцелую,  
Если невозможно наяву.

Нам с тобой сегодня слов не надо,  
Пусть о днях о наших золотых  
Пропоёт нам ветер серенаду,  
Шелестят пусть тополей кусты.

Мы вдвоём, и наш сегодня вечер,  
На траве, как искорки, роса.  
Нам легко, мы рады этой встрече,  
С нами ветер, небо и леса.

Пролетит так тихо день рабочий.  
Хорошо теперь и помечтать,  
И друг друга так вот, между прочим,  
Невзначай, но крепко целовать.

Что же делать, если сердце бьётся,  
Если бьётся радости родник?  
И луна, проказница, смеётся  
Из-за леса, высунув язык.

Мы с тобой сегодня, друг любимый,  
Ничего не надо больше мне.  
Хорошо любить и быть любимым  
И гулять по лесу при луне.

## КОГДА ПЕСНЮ ПОЁШЬ

*Слова В. Гусева, музыка В. Соловьёва-Седого*

Солдату на фронте тяжело без любимой.  
Ты пиши мне почаще, пиши, не тревожь.  
Пылают пожары — тяжело без любимой,  
Но становится легче, когда песню поёшь.  
Алёна, Алёна, дорогая подруга,  
Ты так далеко — что и в год не дойдёшь.  
Прескверная штука — плач да разлука,  
Но становится легче, когда песню поёшь.  
Я верю, родная, ты меня не забыла,  
У знакомой калитки ты по-прежнему ждёшь.  
Быть может, не скоро вернусь я к любимой,  
Но становится легче, когда песню поёшь.

*9 сентября 1946*

## ГИТАРА

*Слова Б. Тимофеева, музыка Б. Фомина*

*Исполнял А. Вертинский — тоже из  
плеяды русских-певцов эмигрантов*

*Вариант Астафьева*

В жизни всё неверно, всё капризно.  
Дни бегут, никто их не вернёт.  
Сегодня праздник, завтра будет тризна,  
Так незаметно старость подойдёт.

Эх, друг-гитара, что звучишь несмело?  
Ведь не время плакать надо мной.  
Вся жизнь прошла, всё пролетело.  
Осталась песня, песня в час ночной.

Эти кудри дерзко-золотые,  
Зацвели вы в белой седине,  
Зацвели вы, годы золотые,  
Когда сидел с тобой наедине.

Эй, друг-гитара, что звучишь несмело?  
Ведь не время плакать надо мной.  
Вся жизнь прошла, всё пролетело.  
Осталась песня, песня в час ночной.

*11 января 1946*

*Романс был в то время жанром гонимым,  
и слова ходили по рукам. Интересно сравнить  
этот вариант с первоисточником:*

Эй, друг-гитара!

В жизни всё неверно и капризно,  
Дни бегут, никто их не вернёт.  
Нынче праздник, завтра будет тризна,  
Незаметно старость подойдёт.

Эй, друг-гитара, что звенишь несмело?  
Ещё не время плакать надо мной.  
Пусть жизнь прошла, всё пролетело —  
Осталась песня, песня в час ночной

Эти кудри дерзко-золотые  
Да увяли в белой седине.  
Вспоминать те годы молодые  
Будем мы с тобой наедине.

Эй, друг-гитара...

Где ты, юность без конца без края?  
Отчего ты быстро пронеслась?  
Неужели скоро, умирая,  
Мне придётся спеть в последний раз?

Эй, друг-гитара...

## СКОЛЬКО Б НИ БЫЛО В ЖИЗНИ РАЗЛУК

Из кинофильма «Жди меня»

*Слова К. Симонова, музыка Н. Крюкова*

*Исполняли В. Серова и Б. Блинов*

Сколько б ни было в жизни разлук,  
В этот дом я привык приходить.  
Я теперь слишком старый твой друг,  
Чтоб привычке своей изменить.

Если я из далёких краёв  
Слишком долго известий не шлю,  
Всё равно, значит, жив и здоров,  
Просто писем писать не люблю.

Ты, крылатая песня, лети  
С ветром буйным в родные края.  
Ждёт ли друга, как прежде, узнай,  
Дорогая подруга моя.

Коль ей грустно, ты сразу поймёшь,  
Приласкай и её обними.  
Понапрасну её не тревожь,  
Только в сердце мельком загляни!

Я и сам бы с тобою слетал,  
Да с рассветом мне в бой уходить...  
Я и сам бы любимой сказал,  
Что в разлуке невесело жить.

И поведать о том не боюсь,  
То для нас небольшая беда.  
Я ведь скоро с победой вернусь —  
Не на час, а навек, навсегда!

Ты, крылатая песня, слетай  
С ветром буйным в родные края.  
Ждёт ли парня, как прежде, узнай,  
Дорогая подруга моя...



## ТРУБКА

Вражьи пули мчатся мимо,  
Ветви сосен беребя...  
Я затягиваюсь дымом,  
Вспоминаю про тебя.

Ты дарила — говорила:  
Трубку новую дарю,  
Оттого не обкурила,  
Потому что не курю.

Мы прощались — обещал я,  
Выпуская горький дым,  
Быть весёлым, быть счастливым,  
Быть до смерти молодым.

И, пока дымок клубится,  
Верным быть тебе вдвойне,  
Не забыться, не влюбиться,  
Не погибнуть на войне.

Но в сраженье, в зное боя,  
В наступательном огне  
Как найти тепло такое,  
Чтоб согрело сердце мне?

Нет со мной моей голубки,  
Взгляда ласкового нет.  
Только память, только трубка,  
Только вышитый кисет.

## ДЕВУШКА ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ТАВЕРНЫ

Портовая песня 1930-х годов

*Имела множество вариаций*

*Вариант Астафьева*

Девушку из маленькой таверны  
Полюбил суровый капитан,  
Девушку с глазами дикой серны  
И с улыбкой девственных диан.

Полюбил за пепельные косы,  
Алых губ нетронутый коралл,  
В честь которых brave матросы  
Выпивали не один бокал.

С берегов, похожих на игрушки,  
Днём морские бархатны луга.  
Для неё скупал он безделушки,  
Ожерелья, кольца, жемчуга.

Каждый год с апрельскими ветрами  
Из далёких и балтийских стран  
Белый бриг с пушистыми коврами  
Вёл домой суровый капитан...

И как рыцарь, ласковый и верный,  
Он спешил на мирный огонёк:  
К девушке из маленькой таверны,  
К девушке — виновнице тревог!

А она с улыбкой величавой  
Принимала ласку и привет  
И однажды резко и лукаво  
Бросила безжалостное: нет!..

Он ушёл, покорный и суровый,  
Головой печальною поник,  
А наутро чайкой резвой  
Таял на востоке в море бриг.

В небесах летали альбатросы,  
Стих на море грозный ураган.  
Не могли никак понять матросы,  
Отчего так хмурен капитан.

*(И)* Никто не ведал той печали,  
Отчего так долго в ранний час  
Девушка из маленькой таверны  
С океана не спускала глаз.

У него боролись два чувства,  
Побеждали гордость и любовь.  
И решил в душе любовной, грустной  
Девушку не видеть больше вновь.

А в апреле с новою свирелью  
Из далёких и балтийских стран  
К берегам, далёким беспредельно,  
Не вернулся больше капитан.

Девушка из маленькой таверны  
День и ночь сидела у окна.  
И глаза испуганные серны  
Отцвели для песен и вина.

И никто не мог понять в июне,  
Даже сам владелец кабачка,  
Девушку, что в полночь полнолунную  
Бросилась в море с маяка...

Средь равнины <...> моря  
С берега сигнал печальный дан:  
То пустил себе в минуту горя  
Пулю в лоб суровый капитан.

Так они друг другу были верны  
И погибли от сердечных ран —  
Девушка из маленькой таверны  
И морской суровый капитан.

## ПЕСНЯ СКРИПАЧА

Популярная мелодия 1930–1960 годов

*Исполнялась в различных вариациях*

*Вариант Астафьева*

Молод и горяч, жил один скрипач,  
Пылкий и порывистый, как ветер.  
Горячо любя, отдал он себя  
Той, которой нет милей на свете.

Пой, моя скрипка, пой,  
Расскажи, как солнце нам смеётся,  
Расскажи ты ей о любви моей  
И о том, как сердце сильно бьётся.

Денег ни гроша, но поёт душа,  
Разливая звуки чудной скрипки.  
Восемнадцать лет, счастья в жизни нет,  
И вся жизнь прошла в её улыбке.

Пой, моя скрипка, пой...  
Вот пришёл другой — с сумой золотой.  
Разве мог я спорить с богачами?  
И она ушла... Счастье унесла...  
Только скрипка плакала ночами.

Плачь, моя скрипка, плачь...  
Расскажи, как на сердце тоскливо,  
Как в тиши ночей думалось о ней.  
Может быть, с другим она счастлива?

Плачь, моя скрипка, плачь...

\* \* \*

Можно всё заветное покинуть,  
Можно все бесследно разлюбить,  
Но нельзя к минувшему остынуть,  
И нельзя о прошлом позабыть!

И когда второй тебя обнимет,  
Ты ему ответишь, как и мне,  
И тогда забьётся моё сердце  
Где-то здесь, в далёкой стороне.

## НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Вальс

*Слова Степана Гавриловича  
Петрова (Скитальца) (1906)*

*Имел несколько вариантов*

*Вариант Астафьева*

Страшно вокруг.  
Ветер на сопках рыдает,  
Порой из-за туч выплывает луна,  
Могилы бойцов освещает.

Средь будничной тьмы,  
Житейской обыденной жизни,  
До сих пор не можем забыть мы войны,  
И льются горячие слёзы.

Плачет отец, плачет жена молодая,  
Плачут все, как один человек,  
Злой рок и войну проклиная.

А слёзы бегут, как волны далёкого моря.  
На сердце моём тоска и печаль  
И бездны далёкого горя.

Белеют кресты  
Великих героев проклятьем.  
Тени прошедшего движутся вновь,  
О жертвах в боях твердят.

*Правильный вариант строфы:*

Белеют кресты  
Далёких героев прекрасных.  
И прошлого тени кружатся вокруг,  
Твердят нам о жертвах напрасных.

## РОДИНА

*Михаил Лермонтов*

*Вариант Астафьева*

Люблю отчизну я, но странною любовью!  
Не победит её рассудок мой.  
Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордого доверия покой,  
Ни тёмной старины заветные преданья  
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.  
Но я люблю — за что, не знаю сам —  
Её степей холодное молчанье,  
Её лесов безбрежных колыханье,  
Разливы рек её, подобные морям...  
Просёлочным путём люблю скакать в телеге  
И, взором медленным пронзая ночи тень,  
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,  
Дрожащие огни печальных деревень.  
Люблю дымок спалённой жнивы,  
В степи кочующий обоз  
И на холме средь жёлтой нивы  
Чету белеющих берёз.  
С отрадой, многим незнакомой,  
Я вижу полное гумно,  
Избу, покрытую соломой,  
С резными ставнями окно;  
И в праздник вечером росистым  
Смотреть до полночи готов  
На пляски с топотом и свистом  
Под говор пьяных мужиков.

*20 декабря 1945*

## В ОКОПЕ

*Вариант Астафьева*

Ночь прошла тревожная, глухая.  
Тает мрак, а я ещё не спал,  
О тебе всю ночь, моя родная,  
Я всю ночь в окопе промечтал.

Ничего, что мы с тобой в разлуке,  
День придёт — и встретимся мы вновь.  
Ярче счастье будет после мўки  
И сильнее нежная любовь.

Перед нами поле боевое,  
Поле боя, славное для нас.  
Солнце встанет яркое, большое,  
И получен боевой приказ.

Буду жить — пожмём друг другу руки,  
Закипит взволнованная кровь;  
Ярче счастье будет после мўки  
И сильнее нежная любовь.

Ну а если на переднем крае  
Мне в бою придётся умереть —  
Ты не плачь: смертей двух не бывает,  
А одной, мой друг не миновать.

Погорюешь, погрустишь от скуки,  
*Друга* встретишь и полюбишь вновь.  
Ярче счастья будет после мўки  
И сильнее нежная любовь.

## МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

Из кинофильма «Светлый путь»

Слова Анатолия Френкеля (Д'Актиля),  
музыка Исаака Дунаевского

Исполняла Любовь Орлова

Вариант Астафьева

В буднях великих строек,  
В весёлом грохоте, огнях и звонах,  
Здравствуй, страна героев,  
Страна мечтателей, страна учёных.

Ты по степи, ты по лесу,  
Ты к тропику, ты к полюсу  
Лети, родимая, несокрушимая,  
Необозримая моя.

Нам нет преград ни в море, ни на суше.  
Нам не страшны ни льды, ни облака.  
Пламя души своей, знамя страны своей  
Мы пронесём через миры и века.

Нам ли стоять на месте?  
В своих дерзаниях всегда мы правы.  
Труд наш есть дело чести,  
Дело доблести и дело славы.

К станку ли ты склоняешься,  
В скалу ли ты врубаешься,  
Мечта прекрасная, ещё неясная,  
Уже зовёт тебя вперёд.

Нам нет преград ни в море, ни на суше.  
Нам не страшны ни льды, ни облака.  
Пламя души своей, знамя страны своей  
Мы пронесём через миры и века.

Создан наш мир на славу,  
За годы сделаны дела столетий.  
Счастье берём по праву,  
И жарко любим, и поём как дети.

И звёзды наши алые  
Сверкают, небывалые,  
Над всеми странами, над океанами  
Осуществлённой мечтой.

2 января 1946



## БОЙ ПРОШЁЛ

*Сергей Орлов*

Бой прошёл. Умолкла канонада.  
В стан врага со свистом не летят  
Сотни мин и тысячи снарядов,  
Дождь свинца, осколков и гранат.

Сердце обжигало нетерпенье.  
Враг разбит! — и сердцу веселей!  
Прочитал сейчас, как наставленьё,  
Письмецо от ласточки своей.

Прочитав, я лёг, заснул счастливый.  
Чудный сон мне в жизни не забыть!  
Вижу я тебя на поле боя —  
Ты идёшь за счастье немца бить!

Вижу я тебя такой, как прежде,  
Косы вьются по твоим плечам,  
Узнаю по взору, по одежде,  
По знакомым ласковым речам.

В этом сне счастливые мгновенья  
Не развеял грохот батарей.  
Из сражений в логове зверином  
Я пронёс их в памяти своей.

Если долго не было ответа  
От тебя, любимая моя,  
Ни друзьям, ни солнечному свету —  
Ничему не радовался я!

Ты писала редко, но с тобою  
Был всегда я сердцем и душой,  
И, как лучший друг, на поле боя  
Ты была, любимая, со мной.

Кончил я войну в большом сражении,  
Победил, разбил фашистов!  
Реет наше знамя над Берлином,  
Жди, приеду в родные края!

*11 января 1946*

## НАШЁЛ Я ЧУДНЫЙ КАБАЧОК

*Русский текст Самуила Болотина  
и Татьяны Сикорской,  
музыка В. Хамсона,  
обработка Б. Фиорито  
Вариант Астафьева*

— Нашёл я чудный кабачок, кабачок.  
Вино там стоит пяточок, пяточок.  
И вот сижу с бутылкой на окне (*скамье*).  
Не плачь, милашка, обо мне.

Будь здорова, дорогая,  
Я надолго уезжаю,  
И когда вернусь, не знаю,  
А пока — прощай!

Прощай и друга не забудь, не забудь.  
Твой друг уходит в дальний путь, в дальний путь.  
К тебе вернуться постараюсь я  
Как-нибудь, как-нибудь.

— Но нет, неправда, дорогой,  
Ты там изменишь мне с другой, с другой.  
И ты напрасно врёшь, что, мол, придёшь,  
И зря так весело поёшь.

— Будь здорова, дорогая,  
Я надолго уезжаю,  
И когда вернусь, не знаю,  
А пока — прощай!

Когда солдаты пьют вино, пьют вино,  
Подружки ждут их всё равно, всё равно.  
Тебе немножко грустно, ну и пусть,  
Быть может, я ещё вернусь.

Будь здорова, дорогая,  
Я надолго уезжаю,  
И когда вернусь, не знаю,  
А пока — прощай!

—Вернись попробуй, дорогой, дорогой.  
Тебя я встречу кочергой, кочергой.  
К тому ж ещё побоев надаю  
(Пинков таких в дорогу надаю) —  
Забудешь песенку свою.

—Будь здорова, дорогая,  
Я надолго уезжаю,  
И когда вернусь, не знаю,  
А пока — прощай!

1 декабря 1945

## ОДНОЗВУЧНО ЗВУЧИТ КОЛОКОЛЬЧИК

*Слова И. Макарова, ямщика  
сибирского тракта, музыка Булахова  
Вариант Астафьева*

Однозвучно звенит (*звучит*) колокольчик,  
И дорога пылится слегка.  
И уныло по ровному полю  
Разливается песнь ямщика.

Сколько мысли в той песне любимой,  
Сколько грусти в напеве родном!  
И от звуков той песни знакомой  
Разгорается сердце огнём.

И напомнила прошлые ночи  
И родные поля и луга,  
На сухие поблёкшие очи,  
Как искра, навернулась слеза.

Однозвучно звенит (*звучит*) колокольчик,  
И дорога пылится слегка.  
Ямщик смолк, и по ровному полю дорога  
Пред ним далека, далека.

21 января 1946

## Я ПОМНЮ УТРО

*Слова неустановленного автора*

*Вариант Астафьева*

Я помню утро на склонах гор...  
Даль была ясна, нас звала весна.  
Всё те же горы и солнца свет.  
Снова даль ясна, вновь пришла весна,  
Но ты далеко, тебя здесь нет,  
Только в тишине эхо вторит мне.  
Солнца прекрасней был мне твой взор,  
Средь безмолвных скал я тебя искал.  
В мире ты одна, моя любовь.  
Все чувства, мысли и мечты,  
Ромола<sup>1</sup>, всё это — лишь ты.  
Ромола, ты слышишь ветра нежный зов,  
Ромола, ведь эта песнь любви без слов.  
Как птиц белых стая, над ним  
Облака плывут, блистая,  
Властно вдаль зовут.  
Ромола, какой простор вокруг!  
Взгляни, Ромола, ведь в целом мире —  
Мы с тобой...

## ВЕСЕННЕЕ ТАНГО

*Слова С. Стрижова,*

*музыка В. Козина (не позднее 1941)*

Стояла ночь (*Сияла ночь*), в окно врывались гроздьи белые,  
Цвела черёмуха. О, как она цвела!  
Тебя любил, тебе шептал слова несмелые.  
Ты в полночь лунную мне сердце отдала.

Рояль закрой — ты подошла, тихо промолвила:  
— Твоя любовь запала в сердце глубоко.  
Пройдут года — ты вспомянай меня, любимая,  
Не забывай моё весеннее танго.

Прошли года, но нет тебя со мной, любимая,  
Так хорошо с тобой мне было и легко.  
Рояль закрой — уж не звучит моё любимое,  
Тобой забытое весеннее танго.

*Красноярск, сентябрь 2011*

---

1. Ромола Нижинская — балерина, жена гениального русского танцовщика Вацлава Нижинского.

Александра Гольцова, Татьяна Шнар

## Вечный мир ожившей линии

Реализация Года литературы в России позволила взглянуть на художественное слово с разнообразных ракурсов. С января по декабрь 2015 года в Красноярском крае прошло множество фестивалей и конкурсов, творческих встреч с писателями, презентаций работ начинающих авторов, а также проектов, синтезирующих литературу с другими видами и жанрами искусства. Одним из них стал социокультурный проект «Художественное слово», представивший выставку красноярской студии ксилографии Г. С. Паштова и выставку произведений ленинградской школы книжной иллюстрации «Маленькое окошко в большой мир» из собрания Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова.

Проект был реализован благодаря поддержке министерства культуры Красноярского края, КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края», КГБУК «Центр культурных инициатив» и КРОО «Писатели Сибири».

Книга представляет собой сложный комплекс искусства слова, техники печати и изображения (иллюстрации). Несколько поколений художников посвятили этому благородному делу всю жизнь и создали книги, ставшие своеобразными эталонами. Е. Д. Поленова, И. Я. Билибин, А. Н. Бенуа, Г. Н. Нарбут, В. А. Милашевский, В. В. Лебедев, В. М. Конашевич, Е. Н. Чарушин, Е. М. Рачёв и другие иллюстрировали книги, на которых воспитывалось не одно поколение.

*Выставка книжной иллюстрации «Маленькое окошко в большой мир»* позволила вспомнить книги, которые читались в детстве и юности, понять, насколько отличается рисунок мастера от иллюстраций в книге, часто испорченный типографским станком. Выставка продемонстрировала высокую культуру с превосходными образцами иллюстраций не только в печатных техниках, но и в оригинальных, помогла проследить путь прочтения художником произведения писателя от первой до последней главы.

Блистательные мастера — художники Ю. А. Васнецов, Е. И. Чарушин, А. Ф. Пахомов и их последователи — являются яркими продолжателями традиций, заложенных В. В. Лебедевым. В экспозицию выставки были включены произведения, объёмно характеризующие школу на протяжении десятилетий: цветные и чёрно-белые литографии, акварели, цинкографии, рисунки.



Г. Д. Епифанов. Иллюстрация  
к «Пиковой даме» А. С. Пушкина



Е. И. Чарушин. Иллюстрация  
к книге Б. Герца «Уть-Уть»

На книгах, иллюстрированных Ю. А. Васнецовым, выросло несколько поколений. Его герои добры, смешны, обаятельны, их запоминаешь надолго, а припомнив, непременно улыбнёшься. Е. И. Чарушин был лучшим художником-анималистом. Равных ему не было. Искусство этого художника, доброе, человеческое, радует уже не одно поколение маленьких читателей и учит любить волшебный мир зверей и птиц. Последней книгой Чарушина стала «Детки в клетке» С. Я. Маршака, варианты иллюстраций к которой также экспонировались на выставке. В 1965 году ему посмертно была присуждена золотая медаль на международной выставке детской книги в Лейпциге.

А. Ф. Пахомов — превосходный рисовальщик и мастер литографии. Его яркое художественное дарование проявилось уже в раннем детстве, когда он начал портретировать родных. Главной заслугой Пахомова было преодоление распространённых стандартов условного, кукольного изображения детей. Обаятельные пахомовские персонажи неизменно отличались психологической достоверностью и социальной конкретностью.

Великолепный мастер Г. Д. Епифанов был представлен своими известными иллюстрациями к «Пиковой даме» А. С. Пушкина, «Одиссее» Гомера, «Назидательным новеллам» Сервантеса, выполненными в классической книжной технике — ксилографии, а его талантливый ученик А. А. Харшак — цветными офортами к роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сложные, неожиданные по образному решению литографии, иллюстрации к «Королю Лиру» Шекспира и «Фаусту» Гёте Олега Яхнина дополнили богатую и разнообразную картину ленинградской школы. Авторы, чьи произведения были экспонированы на выставке, являются выпускниками института имени И. Е. Репина — Академии художеств, старейшего художественного учебного заведения.

Большинство экспонентов выставки «Гравюра и слово» — художники красноярской школы ксилографии Германа Паштова; также на выставку приглашён народный художник России Александр Бакулевский, один из авторитетнейших мастеров ксилографии.

Ксилография... Сейчас этот термин может сказать многое только специалистам, а ведь на самом деле почти каждый знаком с произведениями, созданными в этой замечательной древней технике. Технике в наше время не очень популярной, сложной, но необычайно выразительной. Ведь если вдуматься, то именно ясный и лаконичный гравированный рисунок составляет единое целое с чётким ритмом чёрных буквенных строк. Текст и иллюстрация, слово и визуальный образ находятся в одном пространстве.

Пережив пик популярности в пятнадцатом-шестнадцатом веках и возродившись в первой половине двадцатого века, ксилография как искусство оформления книги обновилась, впитала разнообразные художественные языки, стили и направления (экспрессионизм, кубизм, примитивизм) и в то же время не утратила высоких классических ориентиров. В советское время центры искусства ксилографии находились в Москве и Ленинграде. Но к 1990-м годам в России лишь единицы продолжали работать в гравюре на дереве.

Основание Германом Суфадиновичем Паштовым в 1998 году в Сибири школы ксилографии — явление поистине уникальное. Не менее уникальным представляется творческое долголетие и неизменно высокий уровень учеников школы, объединённых и вдохновлённых подвижнической идеей мастера. Каждый художник, вышедший из мастерской, творчески самостоятелен, свободен, каждый говорит своим языком — и это принципиальная установка учителя. Ярким журнальным обложкам, кричащей рекламе, развлекающей глаз, «паштовцы» противопоставляют иной мир — мир ожившей линии, гармонии или борьбы чёрного и белого, мир созерцания и вглядывания. И, без сомнения, этот мир стоит того, чтобы остановиться, отвлечься от суеты и открыть для себя что-то новое.

В настоящее время активных участников школы ксилографии — свыше тридцати художников. Каждый год к ним присоединяются талантливые выпускники Красноярского государственного художественного института. Общий высокий уровень работ участников школы подтверждается победами во всероссийских и международных



Гейн М. Е. Иллюстрация к новеллам Лопе де Вега

конкурсах графики, участием в выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Китае, на Кавказе.

Ксилография — техника кропотливая, требующая от художника полной концентрации, точности и внимательности. Она предельно интеллектуальна, и не только потому, что зачастую связана с литературной основой. Выверенность каждого штриха, каждой линии определяется длительным процессом подготовительной работы над эскизом композиции, предваряющим работу в материале. Продуманность композиции, ясность тоновых отношений позволяют сразу увидеть главное, почувствовать авторскую интерпретацию сюжета.

Одна из отличительных черт школы — чуткое отношение к литературному источнику, когда иллюстрации выполняются с целью не просто украсить издание, но наиболее полно и ёмко выразить содержание книги. Так, в зависимости от эпохи, к которой относится текст, от сюжета и формы повествования художники-иллюстраторы выбирают изобразительный язык и переносят нас в мир прошлых эпох. За годы существования школы участники визуализировали не один десяток произведений — классику русской и зарубежной литературы, произведения современных авторов, былины и сказания народов мира.

Кроме торцовой и продольной ксилографии, лаконичной и строгой, особую категорию работ школы представляет цветная гравюра на дереве. В ней два-три цветовых сочетания наряду с чёрным и белым придают особую теплоту и лиричность произведению, выявляя нюансы композиции. Сложность цветной ксилографии состоит в том, что для каждого цвета художнику необходимо приготовить отдельную доску, совместив последовательно изображения при печати. Красноярские мастера ксилографии добиваются необычайной выразительности отдельных листов и внутреннего единства серий.

Интереснейшей формой графики, представленной на выставке является искусство экслибриса (от лат. «ex libris» — «из книг»), книжного знака владельца книги. Как правило, личный книжный знак представляет собой зашифрованную в большей или меньшей степени информацию о владельце: его фамилию и имя, профессию, мировосприятие, интересы. Миниатюрный экслибрис характеризует не только владельца книжного знака, но много может рассказать о художнике. В двадцатом веке интерес к экслибрису становится всё сильнее, и художественно оформленные книжные знаки не только используются по назначению, но и являются предметом коллекционирования.

Возрождая традиции мастеров прошлого, школа Германа Паштова не стоит на месте, она развивается, разнообразие работ и авторских почерков говорит само за себя. И думается, что творческие эксперименты, сочетающие классическую культуру с острым чувством современности, определяют перспективы красноярской ксилографии.



## Авторы



### Антипин Андрей Александрович

Родился 19 августа 1984 года в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Прозаик. Повести и рассказы публиковались в альманахе «Сибирь», в журналах «Наш современник», «Москва», «Юность», в сетевом журнале «МолОКО», в коллективных сборниках. Автор книг «Капли марта» (Иркутск, 2012) и «Житейная история» (Иркутск, 2013). Член Союза писателей России. Живёт на Верхней Лене, в посёлке Казарки Усть-Кутского района Иркутской области.



### Анфиногенов Джон Фёдорович

Родился в 1937 году на Дальнем Востоке. Сибиряк с 1949 года. После службы в армии учился на радиофизическом факультете Томского государственного университета. С 1959 года — томич. До 1979 года работал в социологической лаборатории ТГУ, а в последующие годы — социологом-экономистом в других организациях Томска. Параллельно с основной работой с 1963-го — активный исследователь проблемы Тунгусского метеорита, участник более 20 экспедиций на места падений сибирских метеоритов. Основной научный интерес лежит в области футурологии и космологии. В настоящее время инвалид I группы. Начиная со школьных лет, писал стихи — использовал поэтическое вдохновение как способ «отдохновения» ума от обязательных жизненных нагрузок и забот, от учебных и профессиональных занятий, от научно-познавательной деятельности и возвышения его над прозой жизни.



### Астраханцев Александр Иванович

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор девяти книг прозы. Последние книги — «Антимужчина» (Москва, «Голос-пресс», 2011), «Портреты. Красноярск, XX век» (Красноярск, «КАСС», 2011). Зам. главного редактора журнала «День и ночь». Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ.



### БРОДНЕВА АДЕЛЯ ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в 1949 году в Иркутске. Окончила Кызыльский педагогический институт. Заведующая Литературным музеем имени В. П. Астафьева (1993–2014), ныне — сотрудник этого музея. Работала учителем литературы в школе рабочей молодёжи. В 1982 году пришла работать в краеведческий музей. Заведовала историко-революционными филиалами КККМ. В 1992 году возглавила авторский коллектив по созданию Литературного музея, открытого в 1997 году. В 2001 году Литературному музею присвоено имя В. П. Астафьева. В 2005 году А. В. Броднева была удостоена звания «Заслуженный работник культуры». В 2011 году опубликовала историческую летопись-хронику из редкого фонда краевого краеведческого музея — «Из дневников протоиерея В. Д. Касьянова (1870–1897)», за публикацию которой получила премию имени Ивана Забелина первой степени за 2013 год. Автор книги «Кто Вы, доктор Крутовский?» (2014) и фотоальбома «Семейный альбом Крутовских. Семья красноярцев Владимира и Лидии Крутовских в контексте истории России (1881–1930)» (2015).



### ГАЙДУКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Родилась в 1953 году в Бурятии. Окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «Астрономо-геодезия». С 1982 года живёт в городе Зеленогорске. Работала в области геодезии, картографии, землеустройства. В 2007 году вышла книга стихов «А шарик летит...». Стихи печатались в краевых и городских коллективных сборниках, журнале «День и ночь».



### ГОЛЬЦОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА

Искусствовед, аспирант, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальных дисциплин Красноярского государственного художественного института. Родилась в г. Санкт-Петербурге. Окончила факультет теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. С 2008 года живёт в Красноярске. Обучается в аспирантуре Красноярского государственного художественного института.



### ГРИГОРЬЕВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА

Родилась в 1941 году в Яранске. Окончила Иркутский горно-металлургический институт, 20 лет работала геологом в экспедициях. В 1997 году вышел поэтический сборник «Ярань». Печаталась в журналах «Енисей», «Сибирские огни», «День и ночь». Выступала на Центральном телевидении.



### ГУСАКОВА ВИОЛЕТТА

16 лет. Ученица 10 «А» класса НОУ «Школа-интернат № 25 ОАО „РЖД“» города Вихоревка Братского района Иркутской

области. Писать прозу начала в раннем детстве, стихи — четыре с половиной года назад. В 2011 году окончила музыкальную школу по специальности «Сольное пение». Теперь в списке увлечений — вязание амигуруми и обучение игре на гитаре.



#### ЕРМОЛАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Родилась в 1947 году в Новокузнецке. Окончила факультет театральной режиссуры Московского института культуры. Работала журналистом, воспитателем, руководила театром кукол. С 1978 года заведует отделом поэзии в журнале «Знамя». Автор нескольких поэтических сборников.



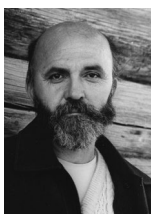
#### ЁЛТЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в Красноярске в 1950 году. Окончил филологический факультет педагогического института, работал в сельской и городской школах, служил в армии. Стал журналистом. Сотрудничал со многими красноярскими СМИ. Автор изданного сборника стихов. Участник движения «дикороссов». Печатался в журналах «День и ночь», «Предлог», «Енисей», коллективных сборниках. Лауреат литературной премии им. И. Д. Рождественского (2010).



#### ЗАДЕРЕЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился в селе Ирбей Красноярского края. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал в газетах Красноярского края и Иркутской области, заведующим литературной частью Красноярского ТЮЗа, старшим редактором Красноярского филиала Свердловской киностудии, ответственным секретарём и главным редактором альманаха «Енисей». Руководил Красноярской писательской организацией. Публикации в журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «День и ночь» и др. Автор книг «Дерево единое» (1980), «Хождение за светом» (1986), «Заветное слово» (1987), «Дымы над горой» (1987), «Светлое дно оврага» (1990) и др., изданных в Красноярске и Москве. Директор художественного салона «Дар».



#### ЗИНОВЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился на Кубани, в станице Кореновской (ныне город Кореновск) в 1960 году. Учился в ПТУ, в станкостроительном техникуме, на филфаке Кубанского государственного университета. Автор девяти поэтических сборников, вышедших в Москве и на Кубани. Лауреат международного конкурса «Поэзия третьего тысячелетия», международного конкурса поэзии «Золотое перо», премии администрации Краснодарского края в области культуры и искусства, Большой литературной премии России. Стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Всерусский собор», «Дон», «Москва», «Роман-журнал XXI век», «Родная Кубань», «Волга — XXI век», «Казачи», «Сибирь», «Сельская новь»,

«Подъём» и др., а также в газетах «Российский писатель», «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы» и др. Женат, имеет сына и дочь. Член Союза писателей России с 1993 года.



### ЗУЕВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

Родилась и живёт в Красноярске. Педагог, культуролог, журналист, путешественник. Прозу и стихи пишет с раннего детства, пробует себя в драматургии. Дипломант краевого литературного конкурса 2013 года на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза». Готовит к изданию поэтический сборник.



### КАРАПЕТЬЯН РУСТАМ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился в 1972 году в Красноярске. Работает программистом. Лауреат премий имени В. П. Астафьева, А. И. Куприна. Публикации в журналах «День и ночь», «Енисей», «Паровоз», «Мурзилка», «Простоквашино», «Костёр», в различных российских и международных антологиях и сборниках. Автор двух книг лирики и семи книг для детей. Член Союза российских писателей.



### КУЗНЕЦОВА ЗИНАИДА НИКИФОРОВНА

Родилась в Воронежской области, в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтёром связи на Красноярской ГРЭС-2, в течение 37 лет была секретарём высших руководителей города. Литературным творчеством занимается с 25 лет. Автор поэтических сборников «Настроение», «Медовый август», «Ночной звонок», «Память сердца», «Облака», «Куст калины» (1-й том 2-томника), «Забывшие острова», сборников рассказов «Райские яблоки», «Болеутоляющее средство», «Белый снег, дорожка чёрная...». Многочисленные публикации в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор», в коллективных сборниках «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Антология поэзии закрытых городов» и многих других. Руководитель литературного объединения «Родники» Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член Союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.



### КУЗНЕЧИХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Родился в 1946 году в рабочем посёлке Космынино под Костромой. После окончания Калининского политехнического института уехал в Сибирь. За 20 лет работы инженером-наладчиком извездил Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки. Выпустил поэтические сборники: «Жёсткий вагон» (1979), «Соседи» (1984), «Поиски брода» (1991), «Похмелье» (1996), «Ненужные стихи» (2002), «Местное

время» (2006), «Дополнительное время» (2010), «Сточностью до шага» (2012), — и книги прозы: «Аварийная ситуация» (Москва, «Советский писатель», 1990), «Омулёвая бочка» (Красноярск, 1994), «Где наша не пропадала» (Красноярск, 2005), «Забавный народ» (Красноярск, 2007), «Бич-рыба» (Москва, «Эксмо», 2014). Член Союза российских писателей.



### ЛЫСЕНКО ДАРЬЯ ИВАНОВНА

Родилась 9 сентября 1988 года в городе Абаза Республики Хакасия. С золотой медалью окончила школу, с красным дипломом — Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. Работает в природоохранной сфере. Победительница межрегионального литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэтическая библиотека Времени» (2015). Дипломантка II международного литературного конкурса «Верлибр» (2015). Финалистка международного литературного фестиваля «Славянская лира» (2015). Публиковалась в ряде периодических изданий, журнале «Сельская новь», альманахе «Часовенка». Издано пять авторских поэтических сборников: «Дарья-птица» (2001), «Из-под ресниц твоих» (2002), «Две меня» (2006), «Графика тени и плоти» (2008), «В никуда» (2015). В 2008 году вышла первая книга прозы «Поймай мою душу».



### НЕИЗВЕСТНЫХ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1954 году в селе Ширыштык Каратузского района Красноярского края. Окончил математический факультет Красноярского госуниверситета (1977). Работал программистом на Красноярском заводе телевизоров, служил в армии. В посёлок Байкит приехал в 1979 году. Работал директором станции юных техников, и. о. заведующего районо, учителем информатики в школе и тренером по шахматам в Центре детского творчества, участвовал в геологических экспедициях. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Автор стихотворных сборников «Байкитский старожил», «Аттестат зрелости», «Алгебра и гармония», «Северная экзотика», «История любви», «Философия мелководья», «Камертон отражений», «Звенья забвенья», «Сентиментальные сонеты», «Вершина распадка», «Странницы дневника», «Скальпель гротеска», книг прозы и публицистики «Школьная дюжина лет», «Дюжина праздничных дней», «Свободное плаванье», шахматных книг «Чёрно-белые игры», «Крылья шахматных мгновений», «СОТИК Каиссы», «Шахматы. Асимметрия страсти», «Вариант чёрно-белой эпохи», «Шахматы на Подкаменной», «Шахматные дебаты». Член Союза российских писателей.



### РАЧКОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

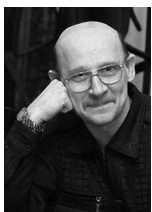
Родился 23 сентября 1941 года в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. В 1964 году окончил историко-филологический факультет Горьковского педагогического института. Лауреат Большой литературной

премии России «АЛРОСа», литературных премий имени А. Твардовского и «Ладога» имени А. Прокофьева. Победитель 2-го Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» в номинации «Лучшее стихотворение года», награждён главным призом «За верность теме» Всероссийского патриотического фестиваля «Мы едины — мы Россия» (2007). Действительный член Петровской академии наук и искусств. Секретарь правления Союза писателей России. Живёт в городе Тосно Ленинградской области.



### ШНАР ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

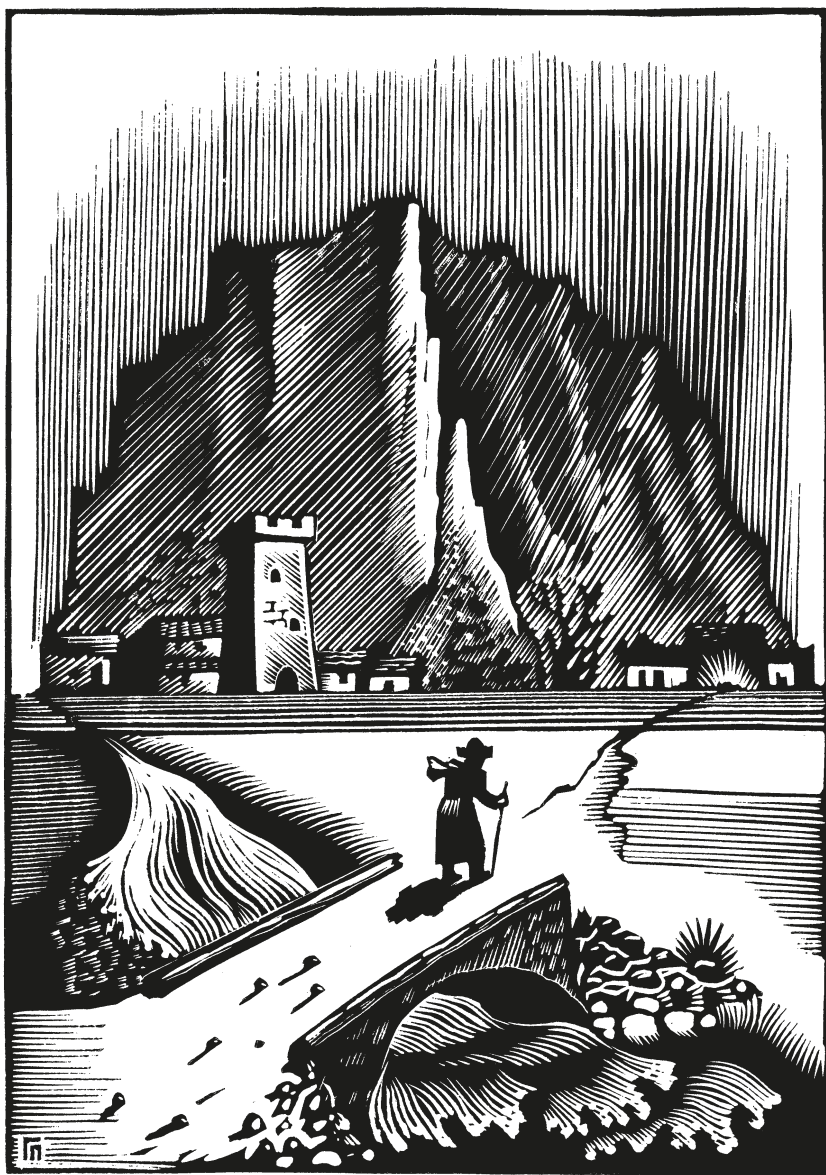
Родилась в 1985 году в Красноярске. Директор Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Дом искусств», председатель правления КРОО «Писатели Сибири», преподаватель кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Гуманитарного института Сибирского федерального университета, член Ассоциации менеджеров культуры.



### ШПАКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

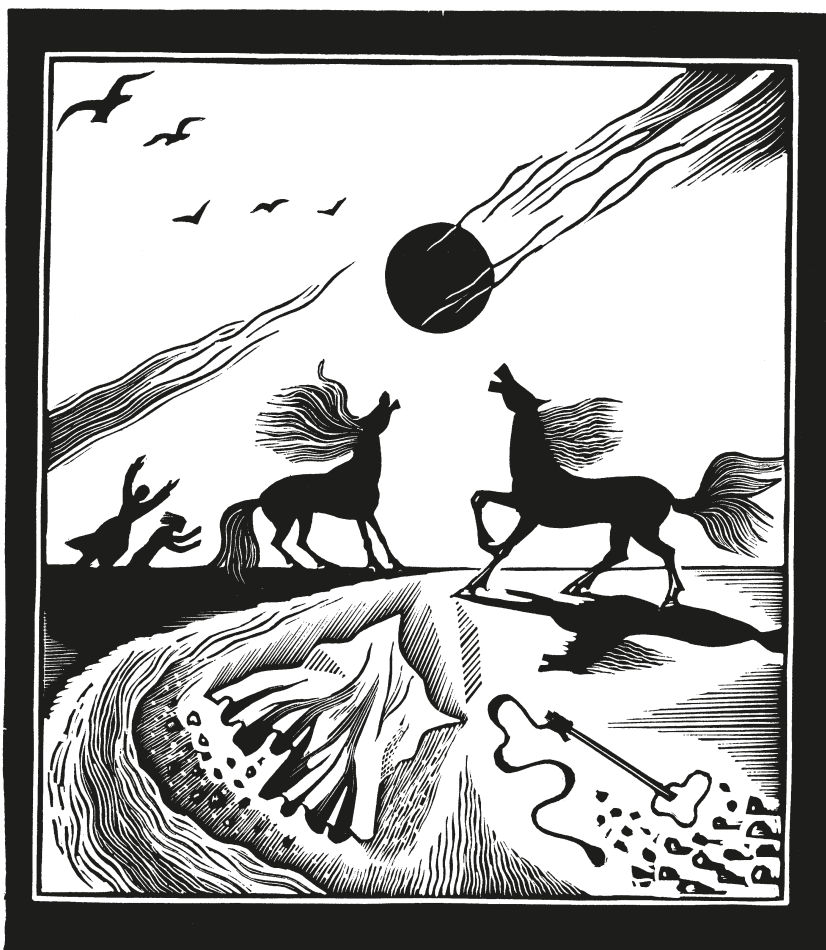
Родился в 1960 году в Брянске. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал в оборонном НИИ, на гражданском и военном флоте. В 1995-м окончил Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Анатолия Приставкина). Первая публикация — рассказ в журнале «Огонёк» (1992). Рассказы, повести и романы публиковались в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Нева», «Аврора», «Крещатик» и др. Автор двух книг прозы: «Клоун на велосипеде» («Геликон-плюс», 1998), «Год петуха» («Алетейя», 2006). Произведения номинировались на премии Ивана Белкина, Юрия Казакова, «Национальный бестселлер», «Русский Букер». Автор более двухсот литературно-критических статей и рецензий. Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 1996 года.





*Иллюстрация к стихам К. Кулиева*

1985 | торцовая ксилография | 10,2×7,2



Война. Иллюстрация к «Стихам-стрелам» А. Кешокова

1979 | торцовая ксилография | 9,7×8,6





Война. Иллюстрация к «Стихам-стрелам» А. Кешокова

1979 | торцовая ксилография | 9,7×8,6



*Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Измаил-Бей»*

1989 | торцовая ксилография | 12,9×9



*Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»*

1989 | торцовая ксилография | 12,9×9

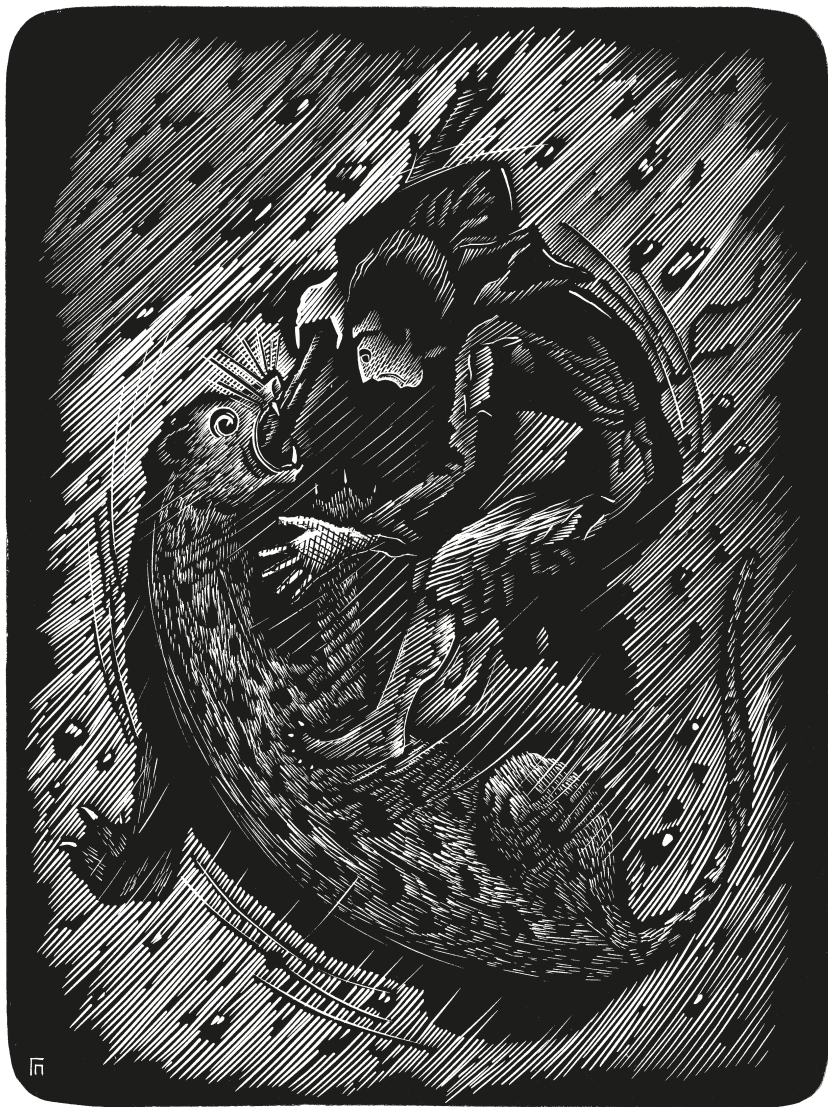


Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»

1985 | торцовая ксилография | 11,8 × 9,1





Иллюстрация к «Избранному» А. С. Пушкина «Пан»

1997 | торцовая ксилография | 14 × 10,8

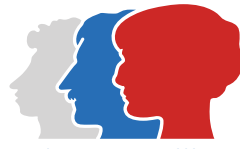


*Иллюстрация к поэме Х. Бештокова «Каменный век»*

1987 | торцовая ксилография | 15,3 × 12







ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

2015

